

Эмиль Золя

# Сочинения



Эмиль Золя

**Сочинения**

«Public Domain»

## **Золя Э.**

Сочинения / Э. Золя — «Public Domain»,

Эмиль Золя (1840–1902) — замечательный французский писатель, король психологической мелодрамы, тонкий знаток взаимоотношений между Женщиной и Мужчиной. В сборник вошли лучшие произведения автора, среди которых достойное место занимает увлекательный роман «Деньги» о страстном биржевом игроке, произведение «Нана» и «Творчество», которые входят в двадцатитомную эпопею «Ругон-Маккары» об одном мелкобуржуазном семействе в эпоху Второй империи. Эти произведения позволяют читателю самостоятельно убедиться в широте, неординарности и многогранности литературного таланта Золя. Уже при жизни Эмиль Золя пользовался огромной популярностью среди читателей. Его сочинения переведены на многие языки мира, его великолепными романами зачитываются и по сей день.

# Содержание

Деньги	5
I	5
II	25
III	41
IV	55
Конец ознакомительного фрагмента.	65

# Эмиль Золя

## Сочинения

### Деньги

#### I

Часы на бирже пробили одиннадцать, когда Саккар вошел к Шампо, в голубой с золотом зал, с двумя высокими окнами, выходящими на площадь. Окинув взглядом ряды столиков, за которыми теснились посетители, он, казалось, удивился, не найдя того, кого искал.

Один из гарсонов, сновавших по зале, проходил мимо него с подносом.

– Что г. Гюрз еще не был?

– Нет, сударь.

Поколебавшись с минуту, Саккар уселся за освободившимся столиком в амбразуре окна. Пока переменяли прибор, он рассеянно смотрел на улицу, следя за прохожими. Даже когда стол был накрыт, он не сразу опомнился, поглощенный созерцанием площади, дышавшей веселием ясного майского дня. Теперь, когда все завтракали, она была почти пуста; скамейки под каштанами, одетыми новой свежей зеленью, оставались незанятыми; длинная линия фиакров вытянулась вдоль ограды; бастильский омнибус остановился у конторы без пассажиров. Солнце палило, затопляя своими лучами здание биржи с его колоннадой, высокими статуями, балконом, на котором пока виднелись только ряды стульев.

Оглянувшись, Саккар увидел за соседним столиком Мазо, биржевого маклера. Он протянул ему руку.

– А! Это вы. Здравствуйте!

– Здравствуйте! – отвечал Мазо, рассеянно отвечая на его пожатие.

Маленький, живой, красивый брюнет – он унаследовал свою должность от какого-то из своих дядей, в тридцать два года. По-видимому, он был совершенно поглощен своим собеседником, массивным, краснолицым, гладко выбритым господином, знаменитым Амадье, которого биржа боготворила со времени его пресловутой аферы с сельзискими рудниками. Бумаги упали до пятнадцати франков, на всякого покупателя смотрели, как на сумасшедшего – Амадье бросил в это дело все свое состояние, двести тысяч франков, так, зря, на авось, без всякого расчета. Открылись новые и богатые жилы; акции поднялись выше тысячи франков; Амадье загреб миллионов пятнадцать, и эта глупая операция, за которую его следовало бы посадить в сумасшедший дом, доставила ему славу великого финансиста. Его поздравляли, с ним советовались. С тех пор он, впрочем, воздерживался от дел, царствуя в ореоле своей единственной, легендарной аферы. Вероятно, Мазо добивался его клиентуры.

Не получив от Амадье даже улыбки, Саккар раскланялся с тремя спекулянтами, сидевшими: за столиком напротив него – Пидьро, Мозером и Сальмоном.

– Здравствуйте, как дела?

– Ничего, помаленьку... Здравствуйте.

И с этой стороны он встречал холодное, почти враждебное отношение. А между тем Пидьро, высокий, худощавый малый, с порывистыми жестами, с ястребиным носом на костлявом лице странствующего рыцаря – отличался фамильярностью игрока, который возводит в принцип азартную игру, говоря, что погибнет, если станет обдумывать свои операции. Он обладал счастливой натурой спекулянта, которому всегда везет, тогда как Мозер, господин небольшого роста, с желтым лицом, очевидно, страдавший печенью, вечно ныл и жаловался, опасаясь

ясь кризиса. Что касается Сальмона, очень эффектного господина, несмотря на свои пятьдесят лет, с великолепной черной, как смоль, бородой, то он слыл за удивительно ловкого малого. Он никогда не разговаривал, отделяясь только улыбками; никто не знал, где он играет и играет ли вообще; и, тем не менее, его манера слушать производила такое впечатление на Мозера, что часто, рассказав Сальмону о какой-нибудь предполагаемой афере, он отказывался от нее, сбивтый с толку молчанием своего собеседника.

Встречая со всех сторон равнодушные, Саккар обводил зал лихорадочным, вызывающим взглядом. Он раскланялся еще только с одним высоким молодым человеком восточного типа, красавцем Сабатани, с продолговатым смуглым лицом и великолепными черными глазами, но дурным, неприятным ртом. Любезность этого господина окончательно взорвала его: это был агент какой-то иностранной биржи, таинственная личность, любимец женщин, явившийся неведомо откуда с прошлой осени и уже разыгравший сомнительную роль при крушении одного банка, но успевший снова приобрести доверие своими безукоризненными манерами и неизменной любезностью со всеми.

Гарсон обратился к Саккару с вопросом:

– Что прикажете, сударь?

– Ах, да... что хотите... котлетку, спаржи!..

Потом он снова спросил:

– Вы наверно знаете, что г. Гюрэ еще не был и не ушел раньше меня?

– О, да, сударь, наверно!..

Итак, вот в каком положении ему пришлось очутиться после октябрьского краха, когда он должен был ликвидировать дела, продать дом в парке Монсо и переселиться в наемную квартиру; только господа вроде Сабатани раскланивались с ним; его появление в ресторане, где он был когда-то царьком, не произвело никакого впечатления: головы не оборачивались, руки не протягивались к нему, как прежде. Как истый игрок, он без всякой злобы вспоминал последнюю аферу, скандальную, убийственную, в которой он еле спас свою шкуру. Но все его существо жаждало реванша, и отсутствие Гюрэ, которому он дал поручение к своему брату Ругону, министру, бывшему тогда в силе, и которому назначил свидание здесь, в ресторане, в одиннадцать часов, – возмущало его. Гюрэ, послушный депутат, крестур великого человека, был только комиссионером. Но Ругон, всемогущий Ругон, неужели он оставил его на произвол судьбы? Никогда-то он не был добрым братом. Положим, катастрофа рассердила его, понятно также, что он прекратил сношения с Саккаром, не желая себя компрометировать; но разве не мог он в течение этих шести месяцев помочь ему тайно? Неужели у него хватит жестокости и теперь отказать в помощи, которой Саккар даже не решался просить лично, не смея явиться к брату, опасаясь его гнева. Стоит ему пошевелить пальцем – и Саккар снова на высоте, а Париж, подлый, огромный Париж – у его ног.

– Какого вина прикажете, сударь? – спросил гарсон.

– Вашего обыкновенного бордо.

Он так задумался, что не чувствовал голода и не замечал, что котлета совершенно остыла, когда тень, мелькнувшая по скатерти, заставила его поднять голову. Это был Массиас, высокий парень с красным лицом, биржевой заяц, пробиравшийся между столами, с курсовой запиской в руке. Саккар с горечью заметил, что он прошел мимо, не обращая на него внимания, и протянул записку Пильро и Жозеру. Занятые разговором, они едва взглянули на нее! Не нужно, в другой раз!.. Массиас, не смея беспокоить знаменитого Амадье, который, нагнувшись над омаром, беседовал о чем-то вполголоса с Мазо, обратился к Сальмону; последний взял записку, внимательно прочел ее и возвратил, не сказав ни слова. Зал оживлялся. С каждой минутой появлялись новые лица. Слышались громкие восклицания, деловая горячка усиливалась. На площади Саккар тоже заметил оживление, экипажи и пешеходы прибывали, на ступенях биржи, отсвечивавших под солнцем, уже мелькали черные фигуры людей.

– Повторяю, – говорил Мозер своим унылым голосом, – эти дополнительные выборы 20 марта – самый зловещий симптом... Наконец, теперь весь Париж в оппозиции.

Но Пильро пожал плечами.

– Ну, левая усилится какими-нибудь Карно и Гарнье-Пажесом – велика важность!

– Вот тоже вопрос о герцогствах, – продолжал Мозер, – крайне запутанный вопрос. Смейтесь, смейтесь. Я не говорю, что мы должны были объявить войну Пруссии, чтобы помешать ей забрать в свои лапы Данию; но разве нельзя было воздействовать на нее иными путями... Да, да, когда большие начинают поедать маленьких, Бог весть, чем это кончится... Наконец, Мексика...

Пильро, который был сегодня в самом благодушном настроении, перебил его, расхохотавшись:

– Э, полноте, милый мой, бросьте вы ваши страхи насчет Мексики... Мексика будет славной страницей нынешнего царствования... С чего вы взяли, что империя больна? Разве январский заем в триста миллионов не покрывался более чем в пятнадцать раз? Успех чудовищный... Посмотрим, что вы скажете через три года, в 67, когда откроется всемирная выставка...

– Я вам говорю, что все идет скверно, – с отчаянием упорствовал Мозер.

– Пустяки, все идет отлично.

Сальмон посматривал на них со своей загадочной улыбкой. А Саккар, слушавший их разговор, проводил параллель между своими собственными затруднениями и кризисом, по-видимому, угрожавшим Империи. Вот он снова повержен, неужели и она также рухнет с недосягаемой высоты во тьму ничтожества? Ах, в течение двенадцати лет он любил и защищал этот режим, в котором жил, пускал корни, наливался соком, как дерево в жирной почве! Но если брат откажется от него, если его вытолкнут из рядов тех, кто истощает эту жирную почву – пусть тогда все лопнет и рассыплется в прах.

Воспоминания унесли его далеко от этого зала, в котором оживление все более и более росло. Он увидел свое отражение в огромном зеркале напротив и удивился. Казалось, годы прошли бесследно для его маленькой фигурки; теперь, в пятьдесят лет, ему нельзя было дать более тридцати восьми; он сохранил свежесть и живость молодости. Его лицо, смуглое, костлявое лицо марионетки, с острым носом, с маленькими блестящими глазами, казалось, выиграло с годами, приобрело прелесть неувядающей юности, гибкой, деятельной, с густыми без единой сединки волосами. Ему вспомнилось, как он приехал в Париж на другой день после переворота, как бродил по улицам в зимний вечер с пустыми карманами, голодный, с бешеными аппетитами, которые требовали удовлетворения. Ах, эта первая прогулка по улицам! Он даже не распаковал чемодана, он не мор утерпеть, и в своих дырявых сапогах, в засаленном пальто ринулся в этот город, который ему предстояло завоевать! С того вечера он много раз поднимался на высоту, миллионы прошли через его руки, и все-таки он никогда не мог поработить фортуны, она не превращалась в его вещь, в нечто осязаемое, реальное, что можно было запереть под замок: ложь, фикция обитали в его кассе, откуда золото, казалось, исчезало сквозь какие-то невидимые дыры. И вот он снова на мостовой, также как в ту отдаленную эпоху, и по-прежнему молодой, голодный, ненасытный, с прежней жаждой богатства и побед. Он попробовал всего и ничем не насытился, не имел ни случая, ни времени, как ему казалось, запустить зубы крепче в обстоятельства и людей. Теперь он еще сильнее чувствовал горечь своего жалкого положения, чем в то время, когда был дебютантом, которого поддерживали иллюзия и надежда. И в нем загорелось желание начать все сызнова, завоевать все сызнова, подняться на такую высоту, до которой еще никогда не поднимался, и придавить, наконец, пятой завоеванный город. Не лживое показное богатство, но прочное здание, настоящее царство денег, престол из мешков с золотом!

Резкий, пронзительный голос Мозера снова вывел его из задумчивости.

– Мексиканская экспедиция стоит четырнадцать миллионов в месяц; Тьер доказал это... И, право, нужно быть слепым, чтобы не видеть, что большинство в палате поколебалось. Теперь на левой больше тридцати человек. Сам император понимает, что абсолютная власть становится невозможной; недаром же он толкует о свободе.

Пильро не отвечал и только презрительно усмехался.

– Да, я знаю, что рынок вам кажется твердым, дела идут. Но дождитесь конца... В Париже чересчур много разрушали и перестраивали. Казначейство истощено. А крупные фирмы... вы думаете, что они в цветущем состоянии... Пусть лопнет одна, увидите, как полетят за ней все остальные... К тому же и народ волнуется. Эта международная ассоциация рабочих просто пугает меня, да! Во Франции протест, революционное движение усиливается с каждым днем... Я вам говорю, что червяк забрался в плод. Все пойдет к черту!

Эта тирада вызвала шумный протест. Решительно, у этого проклятого Мозера желчный припадок. Но сам он не спускал глаз с соседнего стола, за которым Амадье и Мазо по-прежнему разговаривали вполголоса. Мало-помалу весь зал обратил на них внимание и заволновался. О чем они шепчутся? Наверно Амадье затеял новую аферу. В последние три дня получались дурные вести о работах на Суэцком перешейке. Мозер подмигнул Сальмону и понизил голос.

– Знаете, англичане хотят помешать работать! Можно ожидать войны.

На этот раз даже Пильро встревожился: известие было, слишком важно. Оно казалось невероятным и, тем не менее, тотчас стало переходить из уст в уста, приобретая силу достоверности. Англия прислала ультиматум, требуя немедленного прекращения работ. Амадье, очевидно, именно об этом и разговаривал с Мазо, поручая ему продать все свои суэцкие акции. Ропот панического страха поднялся в атмосфере, насыщенной испарениями кушаний, среди звона посуды. Волнение еще более увеличилось, когда вошел Флори, подручный Мазо, маленький блондин с нежным лицом и густой темно-русой бородой. Он поспешно пробрался к своему патрону, шепнул ему что-то на ухо и подал пучок ордеров.

– Хорошо! – лаконически ответил Мазо, уложив их в бумажник.

Потом, взглянув на часы, прибавил:

– Уже двенадцать! Скажите Бертье, чтобы он подождал меня, и сами будьте там.

Когда Флори ушел, он снова обратился к Амадье и, достав из кармана другой пучок ордеров, положил их на скатерти возле своего прибора. Каждую минуту какой-нибудь клиент, проходя мимо, наклонялся к нему с несколькими словами, которые он записывал наскоро на кусочке бумаги. Ложное известие, явившееся неведомо откуда, из ничего, росло, как грозная туча.

– Вы продаете, не правда ли? – спросил Мозер у Сальмона.

Но последний улыбнулся так загадочно, что Мозер призадумался, не зная, верить ли в этот, английский ультиматум, и не догадываясь, что сам его выдумал.

– Я покупаю сколько продадут, – объявил Пильро с решимостью азартного игрока.

Опьяненный этой лихорадочной атмосферой, Саккар принялся, наконец, за спаржу, чувствуя новый прилив раздражения против Гюрэ, которого перестал ожидать. В последнее время он, когда-то такой решительный, медлил и колебался. Он чувствовал настоятельную необходимость начать новый образ жизни и сначала мечтал о совершенно новой деятельности, об административной или политической карьере. Почему бы законодательному корпусу не провести его в совет министров, как его брата?

В спекуляциях ему не нравилась их непрочность; огромные суммы наживаются так же быстро, как и спускаются; никогда ему не случалось владеть реальным миллионом, не будучи никому должным. И теперь, добросовестно разбирая свою деятельность, он сознавал, что, пожалуй, был слишком страстен для денежной войны, требовавшей такого хладнокровия. Этим объяснилось, почему после такой странной жизни, в которой роскошь смешивалась с нуждой, он вышел разоренным и побежденным из чудовищных десятилетних спекуляций с

землями нового Парижа, на которых другие, более тяжелые на подъем, нажили колоссальные состояния. Да, может быть, он обманулся насчет своих истинных способностей; может быть, он со своей энергией, со своей пламенной верой сразу восторжествовал бы в политической суете. Все зависит от ответа Ругона. Если он отвергнет его, толкнет в бездну ажиотажа – ну, что ж, тем хуже для него и для других. Тогда он решится на грандиозную, чудовищную аферу, о которой мечтал уже несколько недель и которая пугала его самого, до такой степени она была велика и обширна, до такой степени ее успех или неудача потрясут весь мир.

Пильро возвысил голос.

– А что, Мазо, покончено с ликвидацией Шлоссера?

– Да, – отвечал маклер, – сегодня появится объявление... Что поделаешь, это, конечно, всегда неприятно, но я получил самые беспокойные известия. Время от времени нужно очищать биржу.

– Мне говорили, – сказал Мозер, – что ваши коллеги, Якоби и Деларок, вложили в это дело кругленькие суммы.

Маклер отвечал неопределенным жестом.

– Ба, это пропащее дело... За этим Шлоссером, наверно, стоит целая шайка, он рассчитается с ней и отправится ловить рыбу в мутной воде на берлинской или венской бирже.

Саккар взглянул на Сабатани, который, как он узнал случайно, был тайным соучастником Шлоссера; оба вели известную игру: один на повышение, другой на понижение одних и тех же бумаг; проигравший отделялся от них, делил барыши с первым и исчезал. Но молодой человек совершенно спокойно рассчитывался за завтрак. Потом со своей полу-восточной, полу-итальянской грацией подошел к Мазо, раскланялся с ним и что-то шепнул ему на ухо. Маклер записал поручение.

– Он продает суэцкие акции, – пробормотал Мозер.

Тут он не выдержал и воскликнул:

– Эй, что вы думаете о Суэзе?

Зал мгновенно умолк, все головы обернулись на этот вопрос, резюмировавший общее беспокойство. Но спина Амадье, который просто разговаривал с Мазо об одном из своих родственников, оставалась непроницаемой, а маклер, удивленный то и дело получаемыми распоряжениями о продаже акций, только пожал плечами по профессиональной привычке к скромности.

– Суэз... да там все в порядке! – объявил своим певучим голосом Сабатани. Мимоходом он подошел к Саккару и галантно пожал ему руку. Саккар на минуту сохранил ощущение этой мягкой, гибкой, почти женской руки. В своих колебаниях, не зная, какой путь выбрать, какую жизнь начать, он смотрел на всех их, собравшихся здесь, как на шайку мошенников. А, если его принудят к этому, – как он проведет, как он острижет этих трусливых Мозеров, хвастунов Пильро, пустоголовых Сальмонов, этих Амадье, которым глупые аферы создали репутацию гениев! Звон тарелок и стаканов снова усилился, голоса загудели, двери то и дело хлопали, – все спешили туда, на биржу, присутствовать при суэцком крахе, если уж ему суждено свершиться.

Глядя в окно, через площадь, по которой то и дело мелькали экипажи, сновали пешеходы, Саккар видел ступени биржи, черневшие от массы человеческих фигур, безукоризненно одетых в черное, которые мало-помалу осыпали колоннаду, тогда как за решеткой, под каштанами, появились неясные силуэты женщин.

Он принялся было за сыр, как вдруг услышал грубый голос:

– Простите, мой друг, я не мог быть раньше.

Это был Гюрэ, нормандец из Кальвадоса, плотная, широкая мужицкая фигура, хитрый крестьянин, разыгрывающий простодушного малого. Он тотчас велел подать себе что-нибудь, что найдется...

– Ну? – сухо спросил Саккар, сдерживавший свое нетерпение.

Но Гюрз, как человек хитрый и осторожный, не торопился отвечать. Он принялся сначала за еду, потом, пододвинувшись к Саккару и понизив голос, сказал:

– Ну, я видел великого человека... Да, сегодня утром, у него... О, он относится к вам с большим участием, с большим участием...

Он остановился, выпил стакан вина и положил в рот картофелину.

– Что ж дальше?

– Дальше вот что... Он готов сделать для вас, что может, он найдет вам отличное место, только не во Франции... Например, губернатором какой-нибудь колонии, хорошей... Вы там заживете, как царь.

Саккар посинел от бешенства.

– Да вы смеетесь надо мною?.. Почему не прямо ссылка?.. А, так он хочет отделаться от меня! Пусть поостережется, чтобы я, в самом деле, не наделал хлопот.

Гюрз, с полным ртом, принялся успокаивать.

– Полноте, полноте, ведь о вас же хлопочут. Предоставьте нам...

– Раздавить меня, да?.. Слушайте, сейчас здесь говорили, что империя скоро переполнит меру своих ошибок. Да, итальянская война, Мексика, отношения к Пруссии. Честное слово, это истина!.. Вы наделаете столько глупостей, что Франция поднимется, как один человек, и выбросит вас за борт.

Депутат, преданная креатура министра, моментально струсил, побледнел, тревожно оглядываясь.

– Позвольте, позвольте, я не успеваю следить за вами... Ругон честный человек; пока он управляет делами, нет никакой опасности... Нет, не говорите, вы его не знаете...

Саккар перебил его сквозь зубы, подавляя бешенство.

– Ладно, ладно, возитесь с ним, стряпайте вместе... Решительный ответ: будет он поддерживать меня здесь, в Париже?

– В Париже? Никогда!

Саккар молча встал, позвал гарсона, расплатился, тогда как Гюрэ, знавший его характер, спокойно жевал хлеб, не удерживая своего собеседника, так как опасался скандала. Но в эту минуту волнение в зале удвоилось.

Вошел Гундерманн, царь банкиров, властитель биржи и мира, человек лет шестидесяти, с огромной лысой головой, толстым носом, круглыми глазами навывкате, с печатью упрямства и крайнего утомления на лице. Он никогда не бывал на бирже, даже не имел на ней официального представителя, никогда не завтракал в публичном месте; лишь изредка появлялся в ресторане Шампо, как сегодня, например, но спрашивал только стакан воды Виши. Страдая расстройством желудка, он уже лет двадцать питался исключительно молоком.

Гарсон, сломя голову, бросился за водой, посетители замерли. Мозер во все глаза глядел на человека, который знал все тайны, создавал повышение и понижение, как Бог посылает ненастье и ведро. Даже Пильро преклонялся перед ним, уступая непреодолимой силе миллиарда. Мазо, оставив Амадье, поспешил к банкиру и поклонился ему чуть не в пояс. Многие из посетителей, собравшиеся было уходить, остались, окружили биржевого бога, стоя, почти сгибая спины, преклоняясь перед кумиром среди груды засаленных скатертей. Все с благоговением смотрели, как он взял стакан дрожащей рукой и поднес его к своим бесцветным губам.

Когда-то, в эпоху спекуляций с землями равнины Монсо, Саккару случалось спорить, даже почти ссориться с Гундерманном. Они не могли столкнуться: один – страстный игрок, другой – трезвый холодный логик. Теперь, когда первый, в припадке гнева, еще усилившегося при виде этого торжественного входа, собирался оставить зал, второй окликнул его:

– Правда ли, друг мой, что вы бросаете дела?.. Прекрасно делаете, давно пора.

Для Саккара это было ударом хлыста по физиономии. Он выпрямил свой маленький стан и произнес резким, звонким голосом:

– Я основываю кредитный дом с капиталом в двадцать пять миллионов и надеюсь скоро побывать у вас!

Он вышел из ресторана, оставляя этот шумный зал, где все теснились и толкались, ожидая, когда откроется биржа. О, если бы восторжествовать, наконец, раздавить каблуком этих людей, оборачивавшихся к нему спиной, помериться с этим королем биржи и, может быть, одолеть его! Он еще не решил, предпринимать ли свою великую аферу, и сам был удивлен своей фразой, вызванной необходимостью отвечать. Но ему не остается другого исхода, если брат отказывается от него, если люди и обстоятельства толкают его на битву, как израненного быка на арену.

С минуту он стоял на краю тротуара. Теперь был самый оживленный час дня, когда парижская жизнь сосредоточивается в этом центральном пункте между улицами Монмартр и Ришелье, двумя артериями, вечно выбрасывающими толпы людей. С четырех сторон площади безостановочно валили экипажи среди суетливой толпы пешеходов. На улице Вивьен экипажи биржевых агентов вытянулись непрерывным рядом, кучера сидели на козлах, держа наготове вожжи, готовые пуститься вскачь каждую минуту. Ступени и галерея биржи походила на муравейник; торговля акциями была уже в полном разгаре, крики продажи и купли, грохот биржевого приboя господствовали над жужжанием города. Прохожие оборачивались с любопытством и страхом, желая знать, что такое происходит там, где совершается тайна финансовых операций, недоступная для большинства французских мозгов, где наживаются и разоряются так внезапно, среди варварских криков и дикой жестикуляции. И он, оглушенный гулом отдаленных голосов, стиснутый в толпе спешивших людей, продолжал мечтать о золотом царстве в этом лихорадочном квартале, где биржа бьется, как огромное сердце, от часа до трех.

Но после своей неудачи он не решался явиться на биржу; оскорбленное самолюбие, уверенность, что его встретят, как побежденного, не позволяли ему подняться по этим ступеням. Как любовник, выгнанный из дома своей возлюбленной, к которой его страсть разгорается тем сильнее, чем более он, как ему кажется, ненавидит ее, он фатально возвращался сюда, бродил вокруг колоннады, заходил в сад, делая вид, что прогуливается в тени каштанов. В этом пыльном сквере, без цветов, без газона, где, среди писсуаров и киосков с газетами, толпились спекулянты и женщины, кормившие детей на скамейках, он напускал на себя вид безучастного фланера, прохаживался, следя за толпой, бросая по сторонам равнодушные взгляды и думая, что он осаждает это здание, окружает его тесным кругом, чтобы впоследствии войти в него победителем...

Он повернул за угол направо под деревья, выходящие на Банковую улицу, и очутился на бирже потерявших цену бумаг, бирже «промоченных ног», как презрительно называют этих игроков сомнительного свойства, торгующих под открытым небом, часто под проливным дождем, акциями лопнувших компаний. Там собралась шумная толпа, целая свора жидов с грязными лоснящимися лицами, с хищными профилями, с типичными носами, устремленными в одну точку, точно над общей добычей, которую они делили, оглушая воздух своими гортанными криками, готовые разорвать друг друга. Он хотел было пройти мимо, когда заметил в сторонке массивного человека, который рассматривал на солнце рубин, осторожно поднимал и поворачивая его грязными толстыми пальцами.

– А, Буш!.. Я и забыл, что собирался зайти к вам.

Буш, имевший комиссионную контору на улице Фейдо, на углу улицы Вивьен, несколько раз оказывал ему важные услуги в затруднительных обстоятельствах. Он стоял как бы в экстазе, любуясь игрой драгоценного камня, закинув голову, с блаженным лицом; его белый галстук, который он всегда носил, закрутился в веревку; сюртук, купленный по случаю, когда-то превосходный, но совершенно истертый и весь в пятнах, въехал на самый затылок и терялся

в светлых волосах, падавших редкими, взъерошенными космами с его лысой головы. Шляпа его, порыжевшая от солнца, вылинявшая от дождей, уже не имела определенного возраста.

Наконец, он решился спуститься на землю.

– А! г. Саккар, вы тоже заглянули сюда.

– Да! У меня есть письмо на русском языке, от русского банкира, живущего в Константинополе. Я хотел зайти к вашему брату, попросить его перевести.

Буш, машинально продолжая вертеть рубин в правой руке, протянул левую, говоря, что перевод будет прислан сегодня же вечером. Но Саккар объяснил, что записка состояла всего из десяти строк. – Я зайду к вам, ваш брат переведет мне ее в пять минут...

Он был прерван появлением госпожи Мешэн, особы очень хорошо известной всем завсегдатаям биржи, одной из тех на все готовых женщин, играющих на бирже, чьи грязные руки пачкаются во всевозможных темных делах.

Ее круглое лицо, напоминавшее полную луну, одутловатое и красное, с маленькими голубыми глазками, маленьким носиком, крошечным ротиком, из которого исходил нежный детский голос, едва умещалось под старой шляпкой, подвязанной малиновыми тесемками, а огромная шея, вздутый живот, так плотно охватывались зеленым поплиновым платьем, затасканным в грязи, пожелтевшим, что, казалось, оно того и гляди лопнет по швам. В руках у нее был черный кожаный сак старинного фасона, огромный, глубокий, как сума, с которым она никогда не расставалась. Набитый битком, он оттягивал ее на правую сторону, как дерево под напором ветра.

– А, вот и вы, – сказал Буш, по-видимому, ожидавший ее.

– Да, я достала вандомские бумаги, они со мной.

– Отлично, идем ко мне. Сегодня здесь больше нечего делать.

Саккар мельком взглянул на кожаный сак. Он знал, что туда попадали потерявшие цену бумаги, акции лопнувших обществ, над которыми еще торгуются «промоченные ноги», покупая за двадцать, за десять су акции в пятьсот франков, в смутной надежде на внезапное повышение или с более практическими целями, чтобы сбыть их с барышом банкротам, желающим раздуть свой пассив.

В финансовых битвах Мешэн играла роль ворона, следующего за армиями; чуть только основывалась акционерная компания, банкирская контора, она уже была тут со своим сакком, приносившая, высматривая трупы; даже в счастливые минуты удачного выпуска акций она знала, что наступит день гибели, когда будут трупы; будут акции, которые можно подобрать за бесценок в лужах крови и грязи. И он, мечтавший о грандиозном банке, вздрогнул, томимый каким-то предчувствием при виде этого сака, этого кладбища обесцененных фондов, куда стекалась вся грязная бумага, выметаемая с биржи.

Буш собирался уходить вместе со старухой, но Саккар остановил его.

– Что ж, можно к вам зайти? Застану я вашего брата?

Глаза еврея приняли беспокойное, заискивающее выражение.

– Моего брата? Конечно! Где же ему еще быть.

– Отлично, так я пойду.

С этими словами Саккар оставил их и пошел потихоньку по аллее к улице Notre-Dame-des-Victoires. Это самая оживленная часть площади, занятая большими торговыми фирмами, золотые вывески которых сверкали на солнце. На балконе меблированного дома он заметил целую семью провинциалов, с разинутыми ртами. Он машинально поднял голову, взглянул на этих людей, глупое изумление которых заставило его улыбнуться и подумать с некоторой отрадой, что в провинции всегда найдутся акционеры. За его спиной гул биржи, грохот отдаленного приboя раздавались по-прежнему и назойливо лезли ему в уши, как бы угрожая потоплением.

Новая встреча заставила его остановиться.

– Как, Жордан, вы тоже на биржу? – воскликнул он, пожимая руку высокого, смуглого молодого человека с маленькими усиками, с решительным и открытым видом.

Жордан, сын одного марсельского банкира, кончившего самоубийством вследствие неудачных спекуляций, уже десять лет гранил мостовую в Париже, занимаясь литературой, к которой питал непреодолимую страсть, в борьбе с нищетой. Какой-то из его родственников, живший в Плассане и знавший семью Саккара, рекомендовал его этому последнему, когда он принимал весь Париж в своем отеле, в парке Монсо.

– О, на биржу – никогда! – отвечал молодой человек с порывистым жестом, как бы отгоняя трагическое воспоминание об отце.

Потом он улыбнулся:

– Вы знаете, я женился. Да, на подруге детства. Нас обручили еще в те дни, когда я был богат, и она ни за что не хотела изменить мне даже теперь, когда я нищий.

– Да, я получил извещение, – сказал Саккар. – И вообразите, когда-то я имел дела с вашим тестем, г. Можандром. У него была фабрика в Виллетте. Он, должно быть, нажил порядочное состояние.

Эта беседа происходила подле скамейки, и Жордан перебил Саккара, чтобы представить ему толстого, коротенького человека с военной осанкой, сидевшего на скамье, с которым он разговаривал перед тем.

– Капитан Шав, дядя моей жены... Г-жа Можандр, моя теща, урожденная Шав.

Капитан встал и раскланялся с Саккаром. Последний уже знал в лицо эту апоплексическую фигуру, тип мелкого спекулянта, которого всегда можно было встретить здесь от часу до трех. Это игра по мелочам, с почти несомненным выигрышем в пятнадцать, двадцать франков, который нужно реализовать на той же бирже.

Жордан прибавил со своим добродушным смехом:

– Мой дядя отчаянный биржевик...

– Черт возьми, – сказал капитан, – поневоле будешь играть на бирже, когда правительство дает такую пенсию, с которой можно только умереть с голода.

Саккар, в котором молодой человек возбуждал участие своей смелостью в житейской борьбе, осведомился, как подвигается его литература. И Жордан также весело рассказал, что они поселились с женою в улице Клиши, в пятом этаже, потому что Можандры, не доверяя поэту и находя, что с их стороны было уже большим одолжением согласиться на брак, не дали ему ни гроша, под тем предлогом, что их дочь получит после их смерти нерастраченное состояние, которое еще увеличится сбережениями. Нет, литература плохо кормила своего служителя; он задумывал роман, но не имел времени написать его, потому что приходилось поневоле заниматься журналистикой и строчить обо всем, от хроник до судебных отчетов и смеси.

– Ну, – заметил Саккар, – если я возьмусь за свое предприятие, то вы, может быть, понадобитесь мне. Заходите как-нибудь.

Он пошел дальше и повернул за биржу. Тут, наконец, отдаленные крики перестали преследовать его и превратились в глухой гул, терявшийся в общем жужжании площади. Правда, и с этой стороны ступени были усыпаны народом, но кабинет маклеров, красные обои которого виднелись сквозь высокие окна, отделял от большой залы с ее суматохой колоннаду, где спекулянты, богачи расположились спокойно в тени, поодиночке или небольшими группами, образуя нечто вроде клуба в этой галерее, под открытым небом.

Этот фасад биржи, напоминавший заднюю сторону театра, с подъездами для артистов, выходил на относительно глухую и спокойную улицу Notre-Dames-des-Victoires, заполненную погребками винных торговцев, кафе, пивными, трактирами, где кишела особенная, странная смесь посетителей. Вывески указывали на сорную растительность, пробивавшуюся на берегу огромной соседней клоаки: страховые общества с сомнительной репутацией, финансовые газеты разбойничьего направления, компании, банки, агентства, конторы – целая серия

скромных с виду притонов, ютившихся в лавках или на антресолях. Но тротуарам, по мостовой, повсюду бродили люди, чего-то выжидая, что-то высматривая, точно грабители на опушке леса.

Саккар остановился за решеткой, глядя на дверь кабинета маклеров пристальным взглядом полковника, осматривающего крепость перед атакой, когда какой-то высокий детина, только что вышедший из трактира, подошел к нему и поклонился очень почтительно.

– Ах, г-н Саккар, не найдется ли у вас местечка для меня? Я окончательно вышел из кредитного общества.

Жантру был когда-то профессором и переселился из Бордо в Париж, вследствие какой-то темной истории. Принужденный оставить университет, утративший всякое положение в обществе, но красивый малый, с черной бородой и ранней лысиной, притом образованный, умный, любезный, он в двадцать восемь лет пристал к бирже, в течение десяти лет вертелся и пачкался в качестве биржевого зайца, едва добывая средства для удовлетворения своих порочных наклонностей. Теперь, совершенно облысевший, угнетаемый отчаянием, как состарившаяся проститутка, у которой морщины грозят отнять кусок хлеба, он все ожидал случая, который поведет его к успеху и богатству.

При виде его льстивых манер, Саккар с горечью вспомнил поклон Сабатани у Шампо: решительно, на его долю остались только разорившиеся и потерявшие репутацию. Но он питал некоторое уважение к живому уму Жантру и знал, что самые смелые войска набираются из отчаянных голов, готовых на все, потому что им нечего терять. Итак, он отнесся к нему очень добродушно.

– Местечка?.. Что ж! Может быть, и найдется. Заходите ко мне.

– В улицу Сен-Лазар?

– Да, Сен-Лазар. Как-нибудь утром.

Они разговорились. Жантру возмущался биржей, уверяя, что только мошенники могут иметь там успех, с озлоблением человека, которому не удастся ловко смошенничать. Пет, конечно, он бросает биржу; может быть, университетское образование и знание света помогут ему найти хорошее место в администрации. Саккар одобрял его планы, кивая головой. Разговаривая, они вышли за решетку, прошли по тротуару до улицы Броньяр, и тут оба обратили внимание на шикарную карету, остановившуюся на углу этой улицы. Кучер сидел неподвижный, как статуя, но из-за занавески в окне раза два выглянуло женское лицо и живо спряталось. Но вот оно снова выглянуло, и застыло в нетерпеливом ожидании, обратившись к бирже.

– А! Баронесса Сандорф! – пробормотал Саккар.

Это была смуглая головка, со странным выражением, с огненными глазами под синеватыми веками, – лицо, дышавшее страстью, с пунцовыми губами, терявшее только благодаря чересчур длинному носу. Она была очень красива со своей ранней зрелостью, с наружностью вакханки, одетой великими портными империи.

– Да, баронесса, – повторил Жантру. – Я видал ее еще девочкой у ее отца, графа Ладрикура. Вот был игрок! И груб до невозможности. Я приходил к нему за поручениями каждое утро, и однажды он чуть не побил меня. Признаюсь, я не особенно горевал, когда он умер от удара после целого ряда самых плачевных спекуляций. Тогда девочка должна была выйти замуж за барона Сандорфа, советника при австрийском посольстве, который был на тридцать пять лет старше ее, и которого она положительно свела с ума своими огненными глазами.

– Знаю, – заметил Саккар.

Голова баронессы снова исчезла, но тотчас появилась опять, с еще большим возбуждением, вытянув шею по направлению к бирже.

– Она играет на бирже?

– Как сумасшедшая!.. В дни кризисов она обязательно там, в своей карете, следит за курсами, отмечает что-то в записной книжке, дает поручения... Да вот, смотрите, она ждала Массиаса, вон он подходит к ней.

В самом деле, Массиас спешил во всю прыть на своих коротеньких ножках, с курсовой запиской в руке, и подбежав к карете, просунул голову в окно; очевидно, у них с баронессой шли какие-то важные переговоры. Когда он собирался уходить, Саккар и Жантру, отошедшие к сторонке, чтобы не быть замеченными в шпионстве, окликнули его. Он оглянулся и, удивившись, что спрятался за углом, остановился, задыхаясь, с багровым лицом, но веселый, как всегда, со своими голубыми глазами навывкате.

– Что их разобрало! – воскликнул он. – Суэц падает. Говорят о войне с Англией. Все переполошились, а откуда эта новость – никто не знает... Скажите, пожалуйста! Война! Кто бы это мог подумать. Во всяком случае, это штука!

Жантру подмигнул, кивая в сторону кареты.

– А эта – играет?..

– О! Отчаянно. Я бегу от нее к Натансону.

Саккар, слушавший молча, заметил вслух.

– Да, ведь Натансон тоже начал торговать акциями.

– Милый человек этот Натансон, – подхватил Жантру. – Я желаю ему успеха. Мы служили вместе... Но он добьется своего, на то еврей!.. Его отец, австриец, переселился в Безансон, кажется, он был часовой мастер... Знаете, он как-то разом решился, увидав, как это просто устраивается. Стоит завести контору – вот он и завел контору... Ну, а вы довольны, Массиас?

– Что и говорить! Доволен... Вы справедливо заметили, что тут нужно быть евреем, иначе пиши пропало, ничего не поймешь, ничего не клеится... Проклятое ремесло! Да ничего не поделаешь! Впрочем, я еще не потерял надежды.

Он побежал дальше, веселый и смеющийся, как всегда. Говорили, что он был сын какого-то лионского чиновника, пострадавшего на службе, бросивший правоведение и пустившийся на биржу. Саккар и Жантру потихоньку вернулись к улице Браньяр, и снова увидели карету баронессы, но на этот раз окна были подняты; карета, невидимому, была пуста, хотя кучер казался еще неподвижнее.

– Чертовски заманчиво, – грубо заметил Саккар. – Я понимаю старого барона.

Жантру отвечал двусмысленной улыбкой.

– О, барону она уж давно надоела. Притом, говорят, он скряга... Знаете, с кем она сошлась, чтобы оплачивать свои счета, так как биржа дает слишком мало?

– Нет, не знаю.

– С Делькамбром.

– Делькамбром, генерал-прокурором! Такой желтый, сухой, деревянный господин!.. Будущий министр!.. Желал бы я видеть их вместе.

С этими словами они расстались, веселые, оживленные, крепко пожав друг другу руки, причем Жантру напомнил, что на днях будет иметь честь навестить Саккара.

Оставшись один, Саккар снова был оглушен шумом биржи, бушевавшим с упорством морского прибоя. Он завернул за угол, спустился к улице Вивьен по той стороне площади, которой отсутствие ресторанов придает пустынный вид. Он миновал почтовую контору, большие агентства объявлений, возбуждаясь все более и более, по мере того, как приближался к главному фасаду и, дойдя до того места, откуда можно было окинуть взглядом галерею, остановился, как бы не желая оканчивать этот обход, это исследование местности.

Тут было шумное место, где жизнь кипела и была ключом: толпа посетителей наполняла кафе; кондитерская ни на минуту не оставалась пустой; около витрин, в особенности у лавки ювелира, собирались толпы. С четырех сторон, из четырех улиц, пешеходы и экипажи, казалось, все прибывали и прибывали; суматоха еще увеличивалась, благодаря омнибу-

сам, а экипажи биржевых зайцев вытянулись в виде баррикады вдоль тротуара, почти на всем протяжении решетки. Но он не сводил глаз со ступеней биржи, где мелькали на солнце черные сюртуки. Потом перевел их на галерею, битком набитую народом, – черный муравейник, на котором лица светились бледными пятнами. Все стояли, стульев не было видно, кулису можно было угадать только по усиленной суете, по бешеным жестам и крикам, потрясавшим воздух. Налево группа банкиров, занятых вексельными курсами, процентными бумагами и английскими чеками, держалась более спокойно, непрерывно пропуская людей, спешивших на телеграф. Всюду, даже на боковых галереях, кишмя кишели спекулянты, теснясь и толкаясь в непрерывном водовороте. Грохот и стон машины, действовавшей на всех парах, возрастал, охватывал всю биржу как бы пожаром. Внезапно Саккар заметил Массиаса, который опрометью сбежал с лестницы, вскочил в экипаж, крикнул что-то кучеру, и тот погнал лошадей вскачь.

Саккар почувствовал, что кулаки его сжимаются, и, сделав над собой усилие, отвернулся и пошел к улице Вивьен, вспомнив, что ему нужно зайти к Бушу. Но когда он собирался войти в подъезд, какой-то молодой человек, стоявший у бумажной лавки, помещавшейся в нижнем этаже, раскланялся с ним. Саккар узнал Гюстава Седиля, сына шелкового фабриканта в улице des Jeuneurs, которого отец поместил к Мазо для изучения механизма финансовых операций. Он отечески улыбнулся этому элегантному парню, догадываясь, зачем он торчит здесь подле лавки. Бумажная лавка Конена снабжала всю биржу памятными книжками с тех пор, как госпожа Конен взялась помогать мужу, толстяку Конену, вечно сидевшему в заднем отделении лавки и занимавшемуся своей фабрикацией, тогда как она-то появлялась, то исчезала, вела счета, часто выходила из дома. Полная, белокурая, розовая, настоящий барашек, со светлыми шелковистыми волосами, очень грациозная, очень миленькая, она постоянно была в веселом расположении духа. Как говорили, она любила своего мужа, что, впрочем, не мешало ей при случае быть нежной с биржевиками, которые ей нравились. Во всяком случае, счастливицы, которых она дарила своей любовью, должно быть, отличались скромностью и признательностью, потому что ее обожали, за ней ухаживали, несмотря на дурную славу. Бумажная лавка также процветала: это был истинно счастливый уголок. Мимоходом Саккар заметил госпожу Конен, которая улыбалась Гюставу через стекло. Какой миленький барашек! Он почувствовал прилив нежности. Наконец, он поднялся наверх.

В течение двадцати лет Буш занимал на самом верху, в пятом этаже, небольшую квартиру, состоявшую из двух комнат и кухни.

Уроженец Нанси, немец по происхождению, он приехал в Париж и мало-помалу расширил круг своих операций, необычайно сложных, не чувствуя потребности в более поместительном кабинете, предоставив брату Сигизмунду комнату с окнами на улицу, а сам, довольствуясь комнатой с окнами на двор, до такой степени заваленной бумагами, делами, пакетами всевозможных форм, что в ней едва хватало места для единственного стула перед письменным столом. Одним из главных занятий его была торговля обесцененными бумагами, он был ее центром, он служил посредником между биржей «промоченных ног» и банкротами, которым нужно заткнуть дыры в своем балансе. Затем, кроме ростовщичества и тайной торговли драгоценными вещами и камнями, он занимался в особенности скупкой векселей.

Эта последняя была главным источником бумаги, загромождавшей его комнату; она заставляла его рыскать по Парижу, выслеживая, высматривая, поддерживая сношения со всевозможными людьми. Как только он узнавал о банкротстве, он уже был на месте и покупал все, из чего нельзя было извлечь немедленной пользы. Он следил за делами нотариусов, за сомнительными наследствами, за присуждениями безнадежных долгов. Он сам печатал объявления, вступал в сделки с нетерпеливыми кредиторами, которые находили более выгодным получить несколько су, чем рисковать потерей всего, преследуя безнадежных должников. Из этих многочисленных источников стеклись груды бумаги: неоплаченные векселя и расписки, неисполненные условия, не сдержанные обязательства. Все это сваливалось в кучу, потом начи-

налась разборка, требовавшая особенного и очень тонкого чутья. В этом море исчезнувших или неоплатных должников нужно было сделать выбор, чтобы не слишком разбрасываться. В принципе он утверждал, что самый безнадежный долг может сделаться хорошей аферой, и все они были распределены у него в удивительном порядке, в целой серии папок, которым соответствовал список имен. Время от времени он перечитывал этот список, чтобы лучше удерживать его в памяти. Настойчивее всего он преследовал, разумеется, тех должников, которые имели шансы получить состояние; он разузнавал всю подноготную людей, проникал в семейные тайны, принимал к сведению богатых родственников, средства к существованию, в особенности новые должности. Иногда он дожидался целые годы, предоставляя человеку опериться, но готовый задушить его при первом успехе. Исчезнувшие должники еще сильнее разжигали его, побуждая к вечной горячке преследований; он просматривал объявления и имена в газетах, выслеживал адреса, как собака выслеживает дичь. И когда, наконец, они попадались в его лапы, он становился жесток, разорял их до нитки, высасывал всю кровь, получая сто франков там, где истратил десять су, объясняя с грубою откровенностью, что ему приходится выжимать из захваченных то, что он будто бы терял на других, ускользавших у него промеж пальцев, как дым.

В этой охоте на должников он пользовался чаще всего услугами Мешэн. Правда, у него была еще целая свора загонщиков; но он не доверял этим людям с дурной репутацией и волчьим голодом, тогда как Мешэн имела собственность, целый город за Жанмартром – Неаполитанское предместье – обширную площадь, застроенную лачугами, которые она отдавала в наймы помесечно: гнездо ужасающей нищеты, грязное жилище голодной смерти, свиные хлева, которые люди оспаривали друг у друга, из которых выбрасывали жильцов вместе с их навозом, если они переставали платить. Но несчастная страсть к биржевой игре разоряла ее, съедала все доходы с этого города. Она тоже любила финансовые раны, разорения, пожары, в которых можно воровать оброненные драгоценности. Когда Буш поручал ей навести какие-нибудь справки, затравить должника, она нередко сама тратилась, входила в издержки, из любви к искусству. Она называла себя вдовой, но никто не знал ее мужа. Она явилась неизвестно откуда и, казалось, всегда была такою же, как теперь, – тучной пятидесятилетней бабой с тоненьким девическим голоском.

Когда она уселась на единственном стуле Буша, кабинет совершенно наполнился, точно его заткнули пробкой, этим узлом мяса. Буш, съевшийся подле письменного стола, казался погребенным в своих бумагах, только его квадратная голова торчала над папками.

– Вот, – сказала Мешэн, вытаскивая из своего сака грудку бумаг, – вот что Фэйе прислал мне из Вандома... Он скупил все в этом банкротстве Шарпье, о котором вы просили меня написать ему... Сто десять франков.

– Провинция, – пробормотал Буш, – не важное дело, но случаются и там находки.

Он обнюхивал бумаги, классифицировал их опытной рукой, с одного взгляда, чутьем. Его плоское лицо омрачилось, он скорчил недовольную гримасу.

– Гм... не жирно, укусить нечего. Хорошо, что недорого... Вот деньги... еще... Если это молодые люди и если они, в Париже, мы, может быть, поймаем их...

– Это что такое? – воскликнул он вдруг с удивлением. Он держал в руке листок гербовой бумаги с подписью графа Бовилье и тремя строчками, набросанными крупным старческим почерком: «Обязуюсь уплатить десять тысяч франков девице Леони Крон в день ее совершеннолетия».

– Граф Бовилье, – повторил он медленно, размышляя вслух, – да, да, у него были фермы, целое имение близ Вандома... Он умер вследствие несчастного случая на охоте и оставил жену и двоих детей в стесненных обстоятельствах. У меня были их векселя, они уплатили с большим трудом... Пустой человек, хвастунишка...

Вдруг он расхохотался, сообразив, в чем дело.

– Ах, старый плут, он поддел эту девчонку!.. Она не соглашалась, он убедил ее этим клочком бумаги, который не имеет легальной цены... Потом он умер... Посмотрим... подписано в 1854 г.; ну, конечно, она уж достигла совершеннолетия. Но как могла попасть эта записка к Шарпье? Он был хлебный торговец и ростовщик. Наверно она заложила ему эту расписку за несколько эю, а, может быть, он взялся выхлопотать деньги...

– Но, – перебила Мешэн, – ведь это отлично; тут верный барыш.

Буш презрительно пожал плечами.

– Нет, я вам говорю, что юридически, это не имеет никакого значения... Если я представлю эту расписку наследникам, они могут вытолкать меня в шею: ведь я не могу доказать, что деньги не уплачены... Вот, если бы найти девушку, тогда, пожалуй, можно будет прижать их, пригрозить скандалом... Понимаете, разыщите эту Леоини Крон, напишите Фэе, чтобы он откопал ее. А там видно будет.

Он разложил бумаги на две кучи, намереваясь просмотреть их, когда останется один, и стоял неподвижно, прикрывая их руками.

После некоторого молчания Мешэн сказала:

– По поводу векселей Жордана... Кажется, я нашла его. Он служил где-то, а теперь пишет в газетах. Но в редакциях прескверно встречают, никогда не дают адреса. И потом вряд ли он подписывает свои статьи настоящим именем.

Буш молча протянул руку и достал дело Жордана. Тут было шесть векселей на 50 франков, выданных Жорданом портному в минуту крайней нужды, 5 лет тому назад. Неуплаченный вовремя долг все более и более нарастал и в настоящее время достигал семисот франков пятнадцати сантимов.

– Если это способный парень, мы его пощиплем, – пробормотал Буше.

Потом, по какой-то ассоциации идей, воскликнул:

– Что ж, дело Сикардо? Придется его бросить?

Мешэн скорбно подняла к нему свои толстые руки. Вся ее уродливая фигура выразила неподдельное отчаяние.

– Ах, Господи Боже мой, – простонала она своим жалобным голосом, – он просто убьет меня!

Дело Сикардо – была романическая история, которую она очень любила рассказывать. Ее кузина, Розали Шавайль, шестнадцатилетняя девушка, была изнасилована однажды вечером на лестнице в доме на улице Лагарп, где проживала вместе с матерью в маленькой квартирке в шестом этаже. Хуже всего было то, что виновник, женатый господин, поселившийся вместе со своей супругой всего за неделю перед тем в меблированной комнате второго этажа, проявил такой пыл, что бедняжка Розали вывихнула руку о ступеньку лестницы. Отсюда справедливый гнев матери, которая совсем было решила поднять ужаснейший скандал, несмотря на слезы дочери, сознавшей, что она сама того хотела и что ей будет жаль господина, если его потянут в тюрьму. Наконец, мать уgomонилась и удовольствовалась вознаграждением в шестьсот франков, вместо которых были выданы двенадцать векселей, по пятидесяти франков каждый, сроком на год. Тут не было ничего дурного, напротив, мать поступила по всей справедливости, потому что девочка, обучавшаяся белошвейному мастерству, лежала больная в постели, ничего не зарабатывала и стоила чертовских денег. В довершение всего лечили ее так плохо, что она осталась калекой. До истечения первого месяца господин исчез, не оставив адреса. Затем несчастья посыпались градом: Розали родила мальчика, потеряла мать, ударилась в рапутьство, дошла до самой черной нищеты. Приютившись в Cite de Naples, у двоюродной сестры, она таскалась по улицам до двадцати шести лет, не владея рукой, иногда продавала лимоны на рынке, по целым неделям пропадала с мужчинами и возвращалась пьяная, в синяках. Наконец, год тому назад, она издохла после какого-то экстренного приключения. Ребенок, Виктор, остался на руках Мешэн. И никаких документов не сохранилось от этого дела, кроме двена-

дцати неоплаченных векселей за подписью Сикардо. Вот, все, что знали об этом господине: его фамилия была Сикардо.

Буш снова протянул руку и достал дело Сикардо, тоненький пакет из серой бумаги. Никаких издержек не было сделано, все дело состояло из двенадцати векселей.

– Добро бы Виктор был хороший мальчик! – жаловалась старуха. – А то, представьте себе, ужасный ребенок... Да, вот вам наследство: мальчишка, который кончит на эшафоте, и эти бумажонки, с которыми мне нечего делать.

Буш упорно рассматривал билеты своими большими тусклыми глазами. Сколько раз он изучал их таким образом, надеясь найти какое-нибудь указание в форме букв, даже в свойствах самой бумаги! Он утверждал, что этот тонкий, острый почерк не совсем незнаком ему.

– Удивительно, – повторил он снова, – решительно, я видел где-то эти длинные а и о, похожие на и.

В эту минуту кто-то постучался, и он попросил Мешэн протянуть руку и впустить посетителя, так как комната выходила прямо на лестницу. Чтобы попасть в другую комнату, нужно было пройти через первую.

– Войдите.

Вошел Саккар. Он улыбался, прочитав на медной дощечке, прикрепленной к двери, надпись большими черными буквами: «Спорные дела».

– А, г. Саккар, вы за переводом? Мой брат там, в другой комнате... Пожалуйста, пожалуйста...

Но Мешэн заслоняла собою проход, глядя на Саккара во все глаза с выражением крайнего изумления. Пришлось прибегнуть к довольно сложному маневру: он отступил на лестницу, она вышла на площадку, затем он прошел в соседнюю комнату. Все время она не спускала с него глаз.

– О, – прошептала она, наконец, – так вот он, г. Саккар... Я в первый раз вижу его так близко... Виктор, как две капли воды, похож на него.

Буш смотрел на нее с недоумением. Потом, внезапно сообразив что-то, процедил сквозь зубы ругательство:

– Тысяча чертей! Так оно и есть, я знал, что уже видел где-то этот почерк.

Он вскочил, стал рыться в бумагах, перерыл все дела и, наконец, отыскал письмо Саккара от прошлого года, в котором тот просил его подождать долг на какой-то даме. Он сличил почерк: несомненно, те же самые а и о, только сделавшиеся еще острее. Сходство в заглавных буквах было также очевидно.

– Он самый, он самый, – повторял Буш. – Но почему Сикардо, почему не Саккар?

В то же время в его памяти воскресала смутная история, рассказ о прошлом Саккара, который он слышал от некоего Ларсонно, бывшего приказчика, ныне миллионера. По его словам, Саккар явился в Париж после переворота, с целью воспользоваться возникающим могуществом своего брата Ругона; жил сначала в нищете, в грязных домах старого Латинского квартала, потом быстро разбогател, благодаря какому-то двусмысленному браку, после того как ему посчастливилось похоронить первую жену. Тогда-то, во времена нужды, он переименовал Ругона на Саккара, переделав просто фамилию своей первой жены, которая называлась Сикардо.

– Да, да, Сикардо, я ясно помню, – бормотал Буш. – У него хватило нахальства подписать векселя именем жены. Без сомнения, они поселились под этой фамилией в улице Лагарп. А потом он принимал меры предосторожности, переселялся при малейшей тревоге... Отлично, мы сыграем с ним штуку!

– Тише, тише! – остановила его Мешэн. – Он в наших руках. Бог справедлив. Наконец-то я получу награду за все, что сделала для бедняжки Виктора, которого все же люблю, хотя он невыносимый ребенок.

Она сияла, ее маленькие глазки блестели на заплывшем жиром лице.

Но Буш, после первых восторгов по поводу этой неожиданной, так долгожданной разгадки, успокоился и покачивал головой. Конечно, Саккар, хотя и разоренный в настоящее время, все еще представлял богатую добычу. Можно было попасть на гораздо менее выгодного отца. Но приставать к нему небезопасно: он зубаст. Притом наверно он не знает о существовании ребенка; он может отказаться от него, несмотря на сходство, так поразившее Мешэн. Наконец, он вторично овдовел, был свободен, никому не обязал давать отчет в своем прошлом, так что хоть бы он и признал ребенка, его ничем не запугаешь. А получить с него всего шестьсот франков, слишком мизерно; не для того же им так удивительно помог случай. Нет, нет, нужно подумать, разжевать это дело, найти способ обчистить его как следует.

– Не будем торопиться, – заключил Буш. – Притом же он пал, дадим ему время подняться.

После этого они принялись за обсуждение разных делишек, порученных Мешэн: о молодой женщине, заложившей свои драгоценности ради любовника; о зяте, долги которого будут уплачены тещей, его любовницей, если за нее взяться умеючи, наконец, о массе деликатных подробностей, касательно сложного и трудного дела получения долгов.

Войдя в комнату Сигизмунда, Саккар остановился, ослепленный ярким светом, лившимся сквозь окно, незащищенное занавеской. Комната, обитая бледными обоями с голубыми цветочками, имела пустынный вид: небольшая железная кровать в углу, еловый стол посредине и два соломенных стула, составляли все ее убранство. Вдоль левой стены на полках из почти необделанных досок помещалась библиотека: книги, брошюры, газеты, бумаги всякого рода. Но яркий свет неба, на этой высоте, придавал комнате вид какого-то юношеского веселья, игривой свежести. Брат Буша, Сигизмунд, малый тридцати пяти лет, безбородый, с длинными, жидкими, каштановыми волосами, сидел за столом, подперев тощей рукой широкий выпуклый лоб, поглощенный чтением какой-то рукописи до такой степени, что не слышал, как отворилась дверь, и вошел Саккар.

Этот Сигизмунд был недюжинный человек; он слушал лекции в германских университетах, знал, кроме французского, – языка своей матери, – немецкий, английский, русский языки. В 1849 г. в Кельне он познакомился с Карлом Марксом, был одним из самых популярных сотрудников «Новой Рейнской газеты», и с тех пор его религия установилась: он стал пламенным проповедником социализма, всецело отдаваясь идее близкого социального обновления, которое сделает счастливыми униженных и обездоленных. В то время как его учитель, изгнанный из Германии, принужденный эмигрировать из Парижа после июньских дней, жил в Лондоне, писал, старался организовать партию, он, со своей стороны, предавался мечтам о будущем строе, до такой степени забывая о насущном хлебе, что, без сомнения, умер бы с голода, если бы брат не подобрал его на улице Фейдо, подле биржи, посоветовав ему утилизировать свои знания языком и сделаться переводчиком. Этот старший брат обожал младшего страстною любовью матери; безжалостный волк с должниками, способный зарезать человека из-за десяти су, он разнеживался до слез, когда дело шло об этом большом ребенке. Он отдал ему лучшую комнату, ухаживал за ним, как нянька, взял на себя ведение их странного хозяйства, подметал, делал постели, заставлял его есть обед, который им носили из соседнего ресторана. Он, такой деятельный, вечно заваленный всевозможными аферами, снисходительно относился к бездействию брата, переводы которого шли очень вяло, часто прерываясь его собственной работой; даже запрещал ему работать, в виду его подозрительного кашля, и, несмотря на свою любовь и жадность к деньгам, снисходительно улыбался его революционным теориям.

Сигизмунд, со своей стороны, не имел никакого понятия о том, что творится в комнате его брата. Он жил в заоблачных сферах, в грезах о высшей справедливости, не зная об этой торговле обесцененными бумагами и безнадежными векселями. Мысль о милосердии оскорбляла его, приводила в бешенство: милосердие – это милостыня, неравенство, освященное добротой; а он признавал только справедливость; право каждого, положенное в основу нового обще-

ственного строя. По примеру Карла Маркса, с которым он находился в постоянной переписке, он проводил целые дни в изучении этого нового строя, непрерывно улучшая, переделывая на бумаге новое общество, исписывая цифрами лист за листом, стараясь основать на научных данных сложную организацию всемирного счастья. Он отбирал капитал у одних, распределял его между другими, распоряжался миллиардами, решал судьбы мира одним почерком пера, и все это в пустой комнате, не ведая другой страсти, кроме своих грез, не нуждаясь в удовольствиях, умеренный до такой степени, что брату приходилось почти насильно заставлять его есть мясо и пить вино. Он желал, чтобы всякий трудился по силам и получал по потребностям; а сам убивался над работой и жил аскетом, как истинный мудрец, страшно преданный своим идеям, отрешившийся от материальной жизни, кроткий, целомудренный. С осени прошлого года он начал кашлять все сильнее и сильнее, чахотка овладевала им мало-помалу, но он не замечал ее, не лечился.

Саккар кашлянул; Сигизмунд поднял свои задумчивые глаза и взглянул на него с удивлением, хотя они были знакомы.

– Мне нужно перевести письмо.

Молодой человек удивился еще более: он отвадил своих клиентов – банкиров, спекулянтов, маклеров, весь биржевой люд, получающий массу писем, циркуляров, уставов обществ главным образом из Англии и Германии.

– Да, письмо на русском языке. Всего несколько строк.

Тогда Сигизмунд протянул руку: русский язык до сих пор остался его специальностью; только он мог переводить его бегло, все же остальные переводчики этого квартала пробавлялись немецким и английским.

Он прочел письмо вслух по-французски. Это был благоприятный ответ какого-то константинопольского банкира в двух-трех фразах, простая и коротенькая деловая записка.

– Ах, очень вам благодарен! – воскликнул Саккар, по-видимому, очень обрадованный.

Он попросил Сигизмунда написать перевод на оборотной стороне письма. Но с тем случился страшный припадок кашля, который он старался заглушить платком, чтобы не беспокоить брата. Когда припадок миновал, он подошел к окну и распахнул его, задыхаясь, стараясь отдышаться. Саккар последовал за ним и, выглянув в окно, не мог удержаться от легкого восклицания.

– А, отсюда видна биржа. Какой у нее забавный вид!

В самом деле ему никогда еще не случалось видеть ее с такой высоты, с птичьего полета, откуда она выглядела совсем необычайно, с своей огромной четырехугольной цинковой крышей и целым лесом труб. Острия громоотводов возвышались подобно гигантским копьям, угрожающим небу. Все здание имело вид каменной глыбы, на которой колонны казались полосками, глыбы грязно-серого цвета, голой и безобразной, увенчанной изорванным флагом. В особенности поражали ступени и галерея, усеянные черными муравьями, кишевшими в суматохе, которая казалась отсюда, с такой высоты, бессмысленной и жалкой толчеей.

– Какой мизерный вид, – заметил Саккар, – Кажется, всех бы их захватил в горсть, одной рукой. – Потом, зная воззрения своего собеседника, он прибавил с улыбкой: – Когда вы выметете этот сор?

Сигизмунд пожал плечами.

– Зачем? Вы уничтожите сами себя.

Мало-помалу он оживился, подстрекаемый потребностью прозелитизма, которая заставляла его при малейшем намеке излагать свою систему.

– Да, да, вы работаете для нас, сами того не сознавая... Вы – узурпаторы, отнимающие собственность у народа, но, когда вы дойдете до конца, нам останется только отнять ее у вас... Всякая централизация, всякое сосредоточение богатства ведет к коллективизму. Вы даете нам практический урок; огромные имения, которые поглощают мелкую собственность, фабрики,

убивающие кустарную промышленность, магазины и банки, которые, уничтожая всякую конкуренцию, наживаются и растут насчет мелких банков и лавочек; все это – медленное, но непреодолимое движение к новому социальному строю... Мы подождем, пока все затрещит, и противоречие современного порядка, доведенного до своих крайних логических последствий, станет невыносимым. Тогда буржуа и крестьяне сами помогут нам.

Слушая его, Саккар ощущал какое-то смутное беспокойство, хотя и считал его мнения бредом.

– Да объясните же, что такое ваш коллективизм?

– Преобразование частных капиталов, живущих борьбой и соперничеством, в единый общественный капитал, эксплуатируемый трудом всех... Представьте себе общество, в котором орудия производства принадлежат всем; каждый работает по своим силам и способностям, а продукты распределяются сообразно труду каждого. Что может быть проще этого, не правда ли? Общее производство в национальных заводах, верфях, мастерских, затем обмен, вознаграждение продуктами. Избыток производства сохраняется в общественных складах, для пополнения случайных дефицитов... Это, как удар топора, уничтожит гнилое дерево. Нет более конкуренции, нет частного капитала, нет, стало быть, денежных операций, рынков, бирж. Идея барыша потеряла всякий смысл. Источники спекуляции, доходов, получаемых без труда, иссякли.

– Ого, – перебил Саккар, – многим придется изменить свои привычки! Но что вы будете делать с теми, кто теперь получает доходы?.. Гундерманн, например... вы отнимете у него миллиард?

– Вовсе нет; мы не воры. Мы выкупим у него все его бумаги, все его доходные статьи чеками на получение продуктов в течение известного числа лет. Представьте себе, что этот огромный капитал заменится подавляющим количеством продуктов: менее чем через сто лет потомкам Гундерманна, как и всем остальным гражданам, придется прибегнуть к личному труду; аннунтитеты, наконец, кончатся, а им нельзя будет капитализировать свои экономии, избыток продуктов, хотя бы даже сохранилось право наследства. Я вам говорю, что это разом выметет не только личные аферы, акционерные общества, ассоциации частных капиталов, но и все косвенные источники доходов, все системы кредита, ломбарды, наймы, аренды. Остается только одна мера стоимости – труд. Заработная плата, разумеется, уничтожена, так как при настоящем капиталистическом устройстве она не представляет эквивалента действительному продукту работы: она ограничивается лишь тем, что, безусловно, необходимо для существования рабочего. Современный строй заставляет самого добросовестного предпринимателя подчиняться суровому закону конкуренции и эксплуатировать рабочих – иначе ему нельзя жить. Да, нужно изменить всю социальную систему... Нет, вы представьте себе Гундерманна, которому нечего делать со своим правом на продукты, его наследников, которые, не имея возможности все съесть, должны будут уступить свои права другим и взяться за лопату или заступ, как и все другие.

Сигизмунд засмеялся своим добрым, ребяческим смехом. Красные пятна появились на его щеках; для него не было большого удовольствия, как представлять себе эту иронию будущего порядка.

Саккар чувствовал себя все более и более неловко. Что, если этот мечтатель прав? Если он угадал будущее? Он говорил так толково и разумно.

– Ба! – пробормотал он, успокаивая себя, – не завтра же это случится.

– Конечно, – подтвердил молодой человек, успокоившись и с усталым видом. – Мы живем в переходном периоде. Конечно, могут произойти революционные излишества, насилия. Но это мимолетные увлечения... О, я не скрываю от себя трудностей! Эта счастливая будущность, это новое общество, основанное на принципе труда, кажутся людям несбыточной мечтой. Точно новый мир на новой планете... И потом, должно сознаться, новая организация еще не

готова; мы стараемся выработать ее. Я теперь не сплю и думаю об этом целые ночи. Нам могут возразить, например: «если строй таков, как он есть, то значит, логика вещей требовала его». Возможно ли вернуть реку к ее истокам и направить в новое русло!.. Конечно, современный строй обязан своим процветанием индивидуалистическому принципу; соперничество, личный интерес являются источниками изобилия, усиленного производства... Достигнет ли коллективизм такого изобилия? Каким стимулом заменится идея прибыли, которая теперь побуждает рабочего стараться? Вот источник сомнения и муки для меня, слабое место, над которым мы должны поработать, чтобы обеспечить победу за нашими идеями... Но мы победим, потому что справедливость на нашей стороне. Видите вы это здание?.. Видите?..

– Биржу? – сказал Саккар. – Разумеется, вижу.

– Было бы глупо разрушить ее, потому что ее снова выстроят. Но она уничтожится сама собою, когда государство станет единственным и всеобщим банком нации; и почему знать, может быть, она сделается общественным складом для хранения избытка продуктов, и наши внуки будут находить в ней предметы роскоши для своих праздников.

Широким жестом Сигизмунд приветствовал эту будущность всеобщего и одинакового счастья. Он был так возбужден, что припадок кашля возобновился, когда он вернулся к столу, и уткнувшись локтями в бумаги, охватив руками голову, он старался заглушить его. Но на этот раз припадок был сильнее. Внезапно дверь отворилась и вбежал Буш, расстроенный, видимо сам страдая от этого ужасного кашля. Он наклонился над братом, охватил его своими длинными руками.

– Что с тобой, милый?.. Ты опять задыхаешься? Нет, как хочешь, я позову доктора... Это неблагоразумно. Ты, наверное, слишком много говорил.

Он искоса взглянул на Саккара, стоявшего посреди комнаты и все еще не могшего прийти в себя от рассказов этого странного, больного энтузиаста, так легко расправлявшегося с судьбой биржи, все разрушавшего и все перестраивавшего.

– Благодарю, я пойду, – сказал он. – Пришлите мне письмо с переводом... Я ожидаю других; мы сосчитаемся за все разом.

Но Буш остановил его.

– Кстати, дама, которая сейчас была у меня, встречалась с вами когда-то... очень давно.

– В самом деле? Где же?

– В улице Лагарп, № 52.

При всем своем самообладании Саккар побледнел. Губы его нервно дернулись. Он не помнил приключения на лестнице и даже не знал, что девушка забеременела и что у него есть ребенок. Но воспоминание о годах нищеты и унижения всегда было для него очень неприятно.

– Улица Лагарп! Да я там прожил с неделю вскоре после моего приезда в Париж... До свидания!

– До свидания! – сказал Буш, ошибочно принявший его смущение за сознание и уже обдумывавший, каким образом получше воспользоваться этим случаем.

Очувтившись снова на улице, Саккар машинально вернулся к бирже. Он был очень взволнован и даже не взглянул на г-жу Конен, хорошенькая, улыбающаяся фигурка которой виднелась в дверях магазина. Волнение его усилилось, когда он вышел на площадь и снова услышал грохот биржи. Остановившись на углу улицы Бирнеи, он вглядывался в толпу, кишевшую на галерее, и, как ему показалось, узнал робкого Мозера и отчаянного Пильро, тогда как из большой залы доносился резкий голос маклера Мазо, покрываемый иногда раскатистым басом Натансона. В эту минуту промчалась мимо него карета и чуть не сбила его с ног. Массиас выскочил из нее, прежде чем кучер успел остановиться, и опрометью бросился по ступенькам, торопясь исполнить поручение какого-то клиента.

Стоя на тротуаре, не сводя глаз с толпы, кишевшей там, вверху, Саккар мысленно перелбирал всю свою жизнь. Он вспоминал об улице Лагарп, потом об улице С.-Жан, когда он ходил

в стоптанных сапогах, собираясь завоевать Парюк; и бешенство охватывало его при мысли, что Париж все еще не завоеван, что он по-прежнему нищий, по-прежнему должен ловить фортуна, терзаясь жаждой богатства, какой еще никогда не испытывал. Этот маньяк Сигизмунд говорил правду: трудом не проживешь, только дураки трудятся, обогащая других. Только игра дает богатство, роскошь, широкую, полную жизнь. Если далее этот старый мир должен потерпеть крушение, то все же человек, подобный ему, успеет заблаговременно добиться осуществления своих желаний.

Какой-то прохожий толкнул его и даже не извинился. Он узнал Гундерманна: биржевой король совершал свою обычную прогулку. Саккар видел, как он вошел в кондитерскую и вышел оттуда с коробкой дешевых конфет для своих внучек. Этот толчок в такую минуту, когда его возбуждение и без того достигло крайнего предела, был как бы последней каплей, заставившей его принять окончательное решение. Он кончил осмотр местности; он начнет осаду. Он давал клятву биться до последней капли крови; он останется во Франции, наперекор желанию брата, и сыграет последнюю отчаянную партию, которая либо покорит ему Париж, либо погубит его самого.

До самого закрытия биржи он оставался на своем наблюдательном посту. Он видел, как опустела галерея, и толпа, усталая и разгоряченная игрою, медленно хлынула по лестнице. Вокруг него по-прежнему шла суета, сновали экипажи и люди, толпа, предназначенная для эксплуатации, будущие акционеры, невольно оборачивавшие головы проходя мимо биржи с смешанным чувством страха и желания проникнуть в тайну финансовых операций, тем более заманчивую для французских мозгов, что очень немногие из них в состоянии овладеть ключом этой тайны.

## II

После своей последней и разорительной операции с землями, Саккар, уступив свой дворец в парке Монсо кредиторам, чтобы избежать пущей катастрофы, думал было приютиться у сына, Максима. Последний, по смерти жены, занимал целый дом в улице Императрицы, устроив свою жизнь с благоразумием черствого эгоиста; он проедал помаленьку состояние покойной, не позволяя себе никаких излишеств, как человек слабого здоровья, которого пороки состарили преждевременно. Он наотрез отказался принять отца к себе, прибавив с хитрой улыбкой, что делает это для сохранения хороших отношений.

Саккару пришлось искать другого убежища. Он уже собирался нанять домик в Пасси – тихую пристань коммерсанта, отказавшегося от дел – когда вспомнил, что нижний и второй этажи в отеле Орвиедо, на улице Сен-Лазар, не заняты, стоят с заколоченными окнами и дверями. Княгиня Орвиедо по смерти мужа занимала три комнатки, в третьем этаже, и Саккар, бывавший у нее по делам, не раз выражал удивление, почему она не извлекает никакой пользы из своего дома. Но княгиня только покачивала головой; у нее были свои теории насчет денежных дел. Однако, она согласилась отдать ему в наем нижний и первый этажи за смешную цену в десять тысяч франков, хотя это пышное княжеское помещение стоило по меньшей мере вдвое.

До сих пор в Париже вспоминали о роскоши князя Орвиедо. Вернувшись из Испании с колоссальным состоянием, он купил и отремонтировал этот отель, в ожидании дворца из мрамора и золота, которым собирался удивить мир. Это была постройка восемнадцатого века, когда-то окруженная парком, как все подобные дома, выстроенные знатными синьорами того времени. В настоящее время от парка остался только широкий двор, окруженный конюшнями и сараями, которые должна была уничтожить проектируемая улица Кардинала Феша. Сохранился парадный подъезд на улице Сен-Лазар, рядом с огромным зданием, замком Бовилье, в котором еще жили его разорившиеся владельцы; при нем находился и сад, остаток прежнего величия, с великолепными деревьями, также осужденными на гибель при перестройке квартала.

Несмотря на свое разорение, Саккар сохранил еще целую свиту: остатки когда-то многочисленной дворни – камердинера, повара с женой, заведовавшей бельем, еще женщину, оставшуюся неизвестно зачем, кучера и двух конюхов; в конюшнях и сараях у него стояли пара лошадей и три экипажа; в нижнем этаже была устроена столовая для людей. У него не было пятисот франков верных, а жил он, как человек с двумя-тремястами тысяч франков ежегодного дохода. Таким образом, он ухитрился наполнить своей особой обширные апартаменты второго этажа – три салона, пять спален, не считая огромной столовой, в которой накрывался стол на пятьдесят приборов. Эта столовая соединялась с лестницей, ведущей в третий этаж, часть которого княгиня отдавала внаймы некоему инженеру, г. Гамлэну, холостяку, жившему с сестрой. Дверь к ним была заколочена и как они, так и княгиня пользовались черной лестницей, предоставив парадный подъезд Саккару. Последний уставил некоторые из комнат остатками мебели из дома в парке Монсо, другие оставил в прежнем виде, но все же сообщил некоторую жизнь этим пустынным палатам.

Княгиня Орвиедо была одною из замечательных личностей Парижа. Пятнадцать лет тому назад она согласилась выйти замуж за князя, которого не любила, повинуясь приказу матери, герцогини Комбвилль. В то время она славилась красотой и умом, была крайне религиозна, что, впрочем, не мешало ей страстно любить свет. Она ничего не знала о странных историях, ходивших насчет ее мужа, о происхождении его колоссального богатства, которое считали в триста миллионов, о чудовищных кражах – не в чаще леса, как грабили вовремя оно знатные авантюристы, по среди бела дня, на бирже, в карманах доверчивых людей, среди разорения и смерти, как грабит современный, цивилизованный бандит. В Испании и во Франции в течение

двадцати лет князь загребал львиную долю во всех знаменитых легендарных мошенничествах. Не подозревая, в какой грязи и крови подобрал он свои миллионы, она все же чувствовала к нему глубокое отвращение, против которого ее религия была бессильна. Вскоре к этой антипатии присоединилась глухая злоба за то, что у них не было ребенка. Материнский инстинкт душил ее: она обожала детей и ненавидела этого человека, который не мог удовлетворить ни любовницы, ни матери. Тогда она предалась неслыханной роскоши, ослепляя Париж блеском своих балов, которым, как говорили, завидовали даже в Тюльери. Но на другой же день по смерти князя, скончавшегося внезапно от апоплексии, отель в улице Сен-Лазар погрузился в тишину, в абсолютный мрак. Блеск и шум разом прекратились, окна и двери были заколочены, и прошел слух, что княгиня, распустив всю прислугу, уединилась в трех комнатках третьего этажа, как отшельница, оставив при себе только старуху-няньку Софи. Наконец, она вновь появилась в свете, в скромном черном платье, в кружевной косынке, маленькая и полная по-прежнему, с прежним узким лбом, красивым круглым личиком, жемчужными зубами, но уже с бледным, мертвенным выражением схимницы, поглощенной одной идеей. Ей было в то время тридцать лет, и с тех пор она жила только для грандиозных дел благотворительности.

Париж был изумлен и, как водится, стали создаваться самые необыкновенные истории. Княгиня наследовала все состояние, пресловутые триста миллионов, о которых рассказывали даже газеты. Наконец, установилась очень – романтическая легенда. Однажды вечером, когда княгиня собиралась лечь в постель, какой-то незнакомец, одетый в черное, вошел в ее спальню, – как он мог проникнуть туда, осталось ей самой неизвестным, – рассказал ей о происхождении трехсот миллионов и взял с нее клятвенное обещание исправить причиненные ее мужем несправедливости, угрожая в противном случае ужасной катастрофой. Затем он исчез.

И в самом деле, вследствие ли приказания свыше, или, что вернее, вследствие возмущения совести, только она уже пятый год жила в горячке самоотречения и благотворительности. Все подавленные чувства этой женщины, потребность любви, в особенности материнский инстинкт, превратились в истинную страсть к бедным, слабым, обездоленным, у которых были награблены ее миллионы. Она решила вознаградить их по-царски, и эта мысль засела гвоздем в ее голову, превратилась в ее манию: она смотрела на себя, как на банкира, которому бедные внесли триста миллионов, чтобы он употребил их для их же пользы. Она была их поверенным, их приказчиком, жила среди цифр и счетов, окруженная нотариусами, архитекторами и рабочими. Вне дома она устроила контору с двадцатью служащими; но у себя принимала только пять-шесть лиц, своих близких помощников, проводя целые дни за конторкой, среди груды бумаг, как директор большого предприятия, запирающийся от докучных посетителей. Ей хотелось утешить всех несчастных, от ребенка, который страдает при рождении, до старика, который не может умереть без страданий. За пять лет своего вдовства она учредила приют св. Марии в Виллетте, с белыми колыбелями для грудных детей, с голубыми кроватями для более взрослых, приют, который посещали уже более трехсот детей; далее – сиротский дом св. Иосифа в Сен-Манде, где сотня мальчиков и столько же девочек получали воспитание и образование не хуже, чем в любой буржуазной семье; наконец, богадельню для стариков в Шатильоне на пятьдесят мужчин и пятьдесят женщин и госпиталь на двести кроватей, госпиталь Сен-Марсо, только что открытый. Но любимой ее мечтой, всецело поглощавшей ее в настоящее время, был Дом трудолюбия, ее собственная выдумка, дом, который должен был заменить исправительные заведения и в котором триста детей – полтора года мальчиков и полтора года девочек – подобранные на парижских улицах, вырванные из грязи и преступления, могли бы исправляться, благодаря заботливому уходу, и приучаться к ремеслам. Все эти учреждения, эти щедрые дары, поглотили около ста миллионов в течение пяти лет. Еще несколько лет – и эта безумная щедрость угрожала разорить ее дотла, не оставив даже маленькой ренты на хлеб и молоко, которыми она теперь питалась. Когда ее старая нянька, Софи, выйдя из своего обычного безмолвия, бранила ее за расточительность, говоря, что она умрет на соломе, на ее

бледных губах мелькала слабая улыбка – единственная улыбка, которую теперь у нее видели – небесная улыбка надежды.

Саккар познакомился с княгиней Орвиедо по поводу этого самого Дома трудолюбия. Ему принадлежал участок площади, купленной княгиней для этого учреждения, старинный сад с прекрасными деревьями, примыкавший к парку Нёльи и тянувшийся вдоль бульвара Вино. Он возбудил ее интерес своей сметливостью в делах; она пригласила его вторично по поводу каких-то затруднений с подрядчиками. Он сам заинтересовался ее предприятием, восхищенный грандиозным планом постройки: два огромные крыла – одно для мальчиков, другое для девочек – связывались центральным зданием, в котором помещалась капелла, общая зала, администрация, службы; в каждом крыле был свой двор, свои мастерские и проч. Но в особенности восхищала его роскошь постройки, дорогие материалы, мрамор, кухня, отделанная изразцами, в которой можно было зажарить целого быка; огромные столовые с богатой дубовой обшивкой; светлые дортуары, украшенные картинами; гардеробная, ванна, лазарет, устроенные со всевозможной роскошью; обширные светлые лестницы, коридоры, прохладные летом, теплые зимой, и весь вообще дом, дышавший весельем и благосостоянием. Когда архитектор, находя излишней всю эту роскошь, начинал говорить об издержках, княгиня останавливала его немногими словами: она пользовалась роскошью, пусть же и бедные, создавшие эту роскошь, тоже пользуются ею. Ей хотелось доставить бедным не корку хлеба, не жалкое логовище, но дворцы, мягкие кровати, обильный стол, вознаградить их с лихвою за все, что они вытерпели. К несчастью, ее безбожно обкрадывали, пользуясь ее неопытностью в делах. Саккар открыл ей глаза, проверил ее счета, совершенно бескорыстно, единственно из любви к искусству, наслаждаясь этой безумной пляской миллионов. Никогда он не обнаруживал такой безупречной честности. В этом колоссальном предприятии он был самым деятельным, самым добросовестным сотрудником, не жалел времени, тратил даже собственные деньги, и все это ради удовольствия ворожать огромными суммами. В Доме трудолюбия знали только его, так как княгиня не посещала ни этого, ни других своих учреждений, скрываясь в своих трех комнатах, как невидимая фея; его оболгали, его благословляли, ему доставалась вся благодарность, от которой она, по-видимому, отказывалась.

С первых ее дней своего знакомства с княгиней Саккар лелеял смутный проект, который принял ясную и отчетливую форму, когда он поселился в улице Сен-Назар. Почему бы ему не предаться всецело управлению добрыми делами княгини? Потерпев поражение в спекуляциях, терзаясь сомнениями, не зная, что предпринять, он склонен был видеть в этом исходе новое воплощение своих грез о величии. Распоряжаться этим Царственным милосердием, направлять течение этой золотой реки! Оставалось еще двести миллионов – сколько грандиозных предприятий можно затеять, какой волшебный город, воздвигнуть! Не говоря уже о том, что он сумеет удвоить, утроить эти миллионы. Он отдался этому проекту с обычной страстью, он носился с ним, он мечтал о бесчисленных благодеяниях, которыми затопит счастливую Францию; мечтал совершенно бескорыстно, не желая ни гроша для себя. В его фантастической голове создалась грандиозная идиллия, к которой, однако, вовсе не примешивалось желание искупить свои прежние финансовые разбои, тем более что, в конце концов, этот проект приводил в исполнение мечту всей его жизни – завоевание Парижа. Быть королем благотворительности, кумиром бедных, единственным по популярности, – это превосходило все его честолюбивые стремления. Каких чудес не наделает он, употребив для доброй цели свои деловые способности, свою хитрость, упорство, полное отсутствие предрассудков, имея при том в своем распоряжении несокрушимую силу, посредством которой выигрываются сражения, – деньги, груды денег, тех самых денег, которые приносят столько зла и могут принести столько добра, если поставить это своей задачей.

Раздумывая о своем проекте, Саккар пришел, наконец, к вопросу, почему бы ему не жениться на княгине Орвиедо. Это упрочит его положение, избавит его от сплетен. В тече-

ние целого месяца он маневрировал очень искусно, излагал великолепные планы, старался сделаться необходимым; наконец, в один прекрасный день сделал предложение спокойным, наивным тоном и изложил свой великий проект. Он предлагал настоящую ассоциацию, брался ликвидировать состояние, награбленное князем у бедных, раздать нищим его миллионы, удесятерив их. Она – в своем вечном черном платье, с кружевной косынкой на голове, слушала его внимательно, без малейших признаков волнения на исхудалом лице. Выгоды, которые могла принести подобная ассоциация, поразили ее; ко всем остальным соображениям она была совершенно равнодушна. Она отложила свой ответ до следующего дня и, в конце концов, отказала: без сомнения, ее смутила мысль о том, что она уже не будет полновластной распорядительницей своих благотворительных дел. Но она прибавила, что охотно воспользуется его советами, высоко ценит его сотрудничество и просит его по-прежнему заведовать Домом трудолюбия, в котором он был истинным директором.

Саккар был жестоко огорчен, не потому, что ему предстояло вернуться к разбойнической жизни; но как сентиментальный романс вызывает слезы на глазах самых закоренелых пьяниц, так и эта грандиозная идиллия размягчила его старую душу корсара. Он снова упал – и с огромной высоты; ему казалось, что он свергнут с престола. Добиваясь денег, он стремился не только к удовлетворению своих appetитов, но и к широкой, пышной княжеской жизни – и никогда-то ему не удавалось осуществить свои стремления в данной степени, он раздражался все более и более по мере того, как неудачи уносили одну за другой его надежды. Когда его последний проект разбился о спокойный, категорический отказ княгини, все его существо снова прониклось жаждой битвы. Сражаться, одолевая в этой жестокой войне спекуляций, поедать других, чтобы самому не быть съеденным, вот что было – независимо от жажды богатства и блеска – главным стимулом его деятельности. Если он не наживал состояния, то у него были другие радости: ворочать миллионами, командовать в этой денежной войне, с ее поражениями и победами, которые опьяняли его. В то же время воскресала его ненависть к Гундерманну, безумная жажда мщения: одолеть Гундерманна, свалить его наземь, – эта мысль превращалась у него почти в манию всякий раз, когда, он сам был повергнут. Если это невозможно, нельзя ли, по крайней мере, занять место рядом с ним, принудить его к уступкам, стать с ним на равную ногу, как те монархи, которые, имея смежные владения и одинаковые силы, величают друг друга кузенами. В это-то время его снова потянуло на биржу; в голове его зародились тысячи всевозможных проектов, но долго он не знал, на чем остановиться, пока, наконец, одна главная, высшая идея выделилась над всеми остальными и овладела всем его существом.

Поселившись в отеле Орвиедо, Саккар несколько раз встречался с сестрой инженера Гамлэна, занимавшего небольшую квартиру в третьем этаже, госпожой Каролиной, как ее величали запросто. При первой же встрече ему бросились в глаза ее седины, пышная корона совершенно белых волос, производивших странное впечатление при ее сравнительной молодости (ей было не более 36 лет). Она поседела уже в двадцать пять лет. Но густые черные брови придавали странное выражение юности и живости ее лицу, точно обрамленному горностаевым мехом. Она никогда не отличалась красотой со своими резкими чертами, выдающимся подбородком, большим ртом с крупными губами, выражавшими бесконечную доброту. На седые волосы смягчали резкость ее лица, не уничтожая его свежести. Она была высокого роста, крепкого сложения, имела открытый, благородный вид.

Всякий раз, встречаясь с нею, Саккар, который был ниже ее ростом, следил за ней с любопытством, бессознательно завидуя ее высокому росту и здоровому сложению. Мало-помалу он разузнал от окружающих историю Гамлэнов. Отец Каролины и Жоржа был доктор в Монпелье, замечательный ученый, экзальтированный католик, не оставивший детям никакого состояния. Он умер, когда дочери было восемнадцать, сыну – девятнадцать лет, и так как последний поступил в политехническую школу, то сестра последовала за ним в Париж, где стала давать уроки. В течение двух лет она снабжала его деньгами; благодаря ей, он мог окончить курс; да

и позднее, когда он вышел в числе плохих учеников и очутился без всяких средств к существованию, она помогала ему в ожидании пока он найдет место. Брат и сестра, обожали друг друга, мечтали никогда не расставаться. Но подвернулся неожиданный жених, богатый пивовар, который прельстился добротой и умом Каролины, дававшей уроки в его доме, и сделал предложение. Она согласилась, по настояниям брата, в чем ему, впрочем, пришлось горько раскаяться, так как, прожив несколько лет с мужем, Каролина должна была разойтись с ним: супруг оказался горьким пьяницей и в припадках дикой ревности гонялся за нею с ножом. В то время ей исполнилось двадцать шесть лет; она снова осталась без всяких средств к существованию, не желая брать денег от человека, которого бросила. Но ее брат нашел, наконец, после многих неудачных попыток занятие по своему вкусу: он отправлялся в Египет членом комиссии по проведению Суэцкого канала и взял с собою сестру. Они поселились в Александрии: сестра по-прежнему стала давать уроки, брат занимался своими работами. Тут они прожили до 1859 года, при них начались работы в Порт-Сайде, первые работы по закладке канала, начатые жалким отрядом в полтораста землекопов, затерянных в песках, под начальством горсти инженеров. Потом Гамлэн был послан в Сирию, где и остался, поссорившись со своими начальниками. Он вызвал Каролину в Бейрут, где она нашла новых учеников; а сам принялся за грандиозное дело, предпринятое одной французской компанией, – устройства проезжей дороги из Бейрута в Дамаск, первой, единственной дороги сквозь Ливанские ущелья. Таким образом, они прожили три года до окончания предприятия: он, вечно в разъездах, посещая горы, путешествуя по разным местам, между прочим, в Константинополь, где прожил две месяца; она, сопровождая его, когда представлялась возможность, разделяя все его планы, мечты – оживить эту древнюю страну, уснувшую под пеплом погибших цивилизаций. Он составил целую кучу всевозможных проектов и планов, но для осуществления их необходимо было вернуться во Францию, найти капиталы, составить компании. Наконец, после девятилетнего пребывания на Востоке они отправились на родину. В Египте их привели в восторг работы по проведению канала: целый город вырос в песках Порт-Сайда, целое население людей-муравьев копошилось, изменяя вид земли. Но в Париже Гамлэна ожидало жестокое разочарование. Почти полтора года он носился со своими проектами, приютившись в третьем этаже дома Орвието, в небольшой квартире из пяти комнат, за которую платил тысячу двести франков в год. Скромный, неразговорчивый, он никого не мог убедить, и здесь, в Париже, был дальше от успеха, чем в горах и равнинах Азии. Их небольшие сбережения быстро приходили к концу; им грозила нужда.

Саккар обратил внимание на возрастающую грусть Каролины, которая огорчалась, видя, что брат падает духом. В их маленьком хозяйстве она играла до некоторой степени роль мужчины. Жорж, очень похожий на нее по внешности, но более слабый, обладал редкою способностью к труду и всецело предавался своей работе, забывая обо всем остальном. Он ни когда не собирался жениться, не чувствовал в этом надобности, обожая сестру и удовлетворяясь этим обожанием. Вероятно, у него бывали случайные любовницы; но это оставалось неизвестным. Этот старый питомец политехнической школы, со своими грандиозными проектами, влагавший душу во всякое дело, за которое брался, обнаруживал иногда такую наивность, что мог показаться недалеким. Воспитанный в правилах самого узкого католицизма, он сохранил всю свою детскую веру, исполнял все обряды; тогда как его сестра пришла к отрицанию, путем чтения и самообразования, пока он занимался своими техническими работами. Она говорила на четырех языках, читала экономистов, философов, увлекалась одно время социалистическими и эволюционными учениями; но мало-помалу успокоилась: путешествия, знакомство с чуждыми цивилизациями развили в ней терпимость, прекрасное равновесие мудрости. Утратив веру, она, тем не менее, уважала веру брата. Однажды они объяснились и затем уже никогда не возобновляли разговора об этих вещах. Она была умная, простая, добрая женщина: с огром-

ным запасом житейской смелости, бодро переносившая удары судьбы и говорившая, что у нее только одно неисцелимое горе: неимение детей.

Саккар имел случай оказать Гамлэну небольшую услугу, доставить ему работу от какого-то товарищества, которому понадобился инженер для составления отчета о новой машине. Таким образом, он сблизился с ними и нередко заходил к ним посидеть часок-другой в их гостиной, в их единственной большой комнате, которую они превратили в кабинет. В ней не было почти никакой мебели, кроме большого стола для занятий, другого стола поменьше, заваленного бумагами, и полдюжины стульев. Камин был уставлен книгами. Но эта пустынная комната оживлялась своеобразным убранством стен: целой серией планов и акварелей, прибитых каждая четырьмя гвоздиками. Это были проекты Гамлэна, результат его поездок по Сирии, все его будущее состояние, и акварели его сестры, изображавшие местные виды, типы, костюмы, – все, что ей удавалось подметить и срисовать во время экскурсий с братом, нарисованные с большим вкусом, хотя без всяких претензий. Два огромных окна, выходившие в сад отеля Бовилье, освещали ярким светом эту галерею рисунков, напоминавших об иной жизни, о древней цивилизации, повергнутой в прах, которую чертежи с их твердыми, математическими линиями, казалось, хотели приподнять, подпереть прочными сооружениями современной науки. Саккар, со своим избытком энергии, делавшим его симпатичным, увлекался в особенности этими планами и акварелями, рассматривая их, требуя постоянно новых объяснений. В его голове создавалась уже целая махинация.

Как-то раз он застал Каролину одну; она сидела за маленьким столом с убитым видом, бессильно положив руки на кипу бумаг.

– Как же не огорчаться? Каши дела идут все хуже и хуже... Я, впрочем, не теряю бодрости. Но со всех сторон неудачи, а что хуже всего, брат совершенно упал духом; он бодр и силен только, когда работает... Я было думала опять взяться за уроки; искала, но пока ничего не нашла... А идти в горничные слишком тяжело.

Никогда еще Саккар не видал ее такой обескураженной.

– Черт возьми, да не в таком же вы бедственном положении! – воскликнул он.

Она покачала головой; она тоже падала духом и горько жаловалась на жизнь, которую встречала обыкновенно так бодро даже в дурные минуты. В это время вернулся Гамлэн с рассказом о новой неудаче, довершившим ее горе: крупные слезы медленно покатались по ее щекам; она замолчала, сжав кулаки, устремив неподвижный взгляд в пространство.

– И подумать, – промолвил Гамлэн, – что там нас ожидают миллионы, лишь бы кто-нибудь захотел помочь мне добыть их.

В это время Саккар рассматривал чертеж какого-то павильона, окруженного огромными магазинами.

– Что это такое? – спросил он.

– Так, пустяки, это я рисовал для забавы, – ответил инженер. – Это план жилища директора компании, о которой я мечтал, помните?.. Компании соединенных пакетботов.

Он оживился, пустился в подробности. За время своего пребывания на Востоке он имел случай убедиться, как безобразно организована система перевозки. Несколько обществ, имевших местопребывание в Марсели, убивая друг друга соперничеством, страдали от недостатка средств. Одной из его первых идей, лежавшей в основе всех дальнейших планов, было соединение этих обществ в один синдикат, в одну обширную компанию, с миллионными средствами, которая могла бы эксплуатировать все Средиземное море, воцариться на нем, устроить рейсы ко всем портам Африки, Испании, Италии, Греции, Египта, Азии до Черного моря включительно. Эта организация была бы не только выгодным делом, но и гражданским подвигом: это значило завоевать Восток, подарить его Франции, не говоря уже о том, что она открывала доступ в Сирию, где предстояло богатое поле для дальнейших операций.

– Синдикаты, – пробормотал Саккар, – да, будущность, по-видимому, за ними... Это такая могущественная форма ассоциации! Три, четыре мелких предприятия, которые еле прозябают отдельно, приобретают несокрушимую жизненность, соединившись... Да, будущее за крупными капиталами, за сосредоточенными усилиями больших масс. В конце концов, вся промышленность, вся торговля превратятся в один громадный базар, который будет доставлять все продукты.

Он остановился, взглянув на акварель, изображавшую дикое ущелье, заваленное обломками скал, поросших кустарником.

– Ого, – сказал он, – вот конец света. В этом закоулке не приходится толкать прохожих.

– Кармельское ущелье, – отвечал Гамлэн. – Моя сестра, срисовала его, пока исследовал местность. Да... вот здесь, между меловыми известняками и порфирами, которые приподняли эти известняки вдоль всего склона горы, залегает серебряная жила, разработка которой, по моим расчетам, могла бы доставить огромные барыши.

– Серебряная жила? – подхватил Саккар.

Каролина, по-прежнему сидевшая в печальном раздумье, устремив глаза вдаль, услышала этот разговор. Казалось, он вызвал перед ее глазами какое-то видение.

– Кармель, – повторила она, – какая пустыня, какая глушь! Всюду мирты, вереск; теплый воздух напоен их благоуханием. А там высоко-высоко, орлы кружат над пустыней... Но какие богатства зарыты рядом с ужасной нищетой. Хотелось бы видеть веселую толпу, заводы, возникающие города, народ, возрожденный трудом.

– Не трудно провести дорогу от Кармеля к Сен-Жан-д Акра, – продолжал Гамлэн. Я думаю, что тут найдется и железо: им изобилуют горы этой страны... Я изучил также новый способ разработки, который принесет важные выгоды. Все готово, нужно только найти капиталы.

– Общество серебряных рудников Кармеля, – пробормотал Саккар.

Но теперь уже инженер переходил от одного плана к другому, поглощенный работой всей его жизни, возбужденный мыслью о блестящем будущем, которое таилось здесь, парализуемое нуждой.

– Но это только мелкие дела для начала, – говорил он. – Взгляните на эти планы, вот главная задача: изрезать Малую Азию сетью железных дорог. Недостаток удобного и быстрого сообщения – главная причина застоя этой богатой страны... Там нет ни одной проезжей дороги, приходится странствовать на мулах или верблюдах... Подумайте, какой переворот совершится, если провести железные дороги до самых границ пустыни. Промышленность и торговля удесятятся, цивилизация торжествует, для Европы открываются, наконец, двери Востока... О, если это вас интересует, мы еще потолкуем обстоятельно. И вы увидите, увидите!

Впрочем, он не мог удержаться и тут же пустился в объяснения. План своей сети железных дорог он составил главным образом во время поездки в Константинополь. Большое и единственное затруднение представляли горы Тавра; но, исследовав различные ущелья, он убедился в возможности провести прямой путь с сравнительно небольшими издержками. Притом он не думал сразу соорудить всю сеть. Когда удастся выхлопотать у султана полную концессию, достаточно будет построить сначала главную линию от Бруссы до Бейрута на Ангору и Алеппо. Потом можно будет подумать о боковых линиях от Смирны до Ангоры и от Трапезунда до Ангоры на Эрзерум. А потом, потом...

Он остановился, улыбаясь, не решаясь высказывать до конца своих проектов, своих смелых грез.

– Ах, долины Тавра, – заметила Каролина как бы в забытьи, – какая райская природа! Стоит слегка поцарапать землю и поля покрываются жатвой – тучной, изобильной... Персики, вишни, фиговые, миндальные деревья ломаются под тяжестью плодов. Целые леса олив и туто-

вых деревьев. И как легко, как привольно живется в этом чистом воздухе, под вечно голубым небом.

Саккар засмеялся резким, аппетитным смехом, который был ему свойствен, когда он чувствовал наживу. Гамлэн продолжал толковать о своих планах, именно о проекте организации банка в Константинополе, упомянув при этом о связях, которые ему удалось завести с тамошними воротилами, в особенности с великим визирем. Саккар весело перебил его:

– Да ведь там все можно купить!

Потом очень фамильярно положил руки на плечи Каролины и прибавил:

– Не отчаивайтесь же, сударыня! Я к вам очень расположен, и мы устроим с вашим братом дельце, выгодное для всех нас... Имейте терпение, подождите!

В течение следующего месяца Саккар снова доставил инженеру кое-какие мелкие работы, и если ничего не говорил о великих аферах, то тем более думал о них, колеблясь перед подавляющей громадой предприятий. В особенности укрепилась их связь после того, как Каролина как-то совершенно естественно занялась его хозяйством, – хозяйством одинокого человека, разоряющегося от массы ненужных издержек и бестолковщины, которую обилие прислуги только увеличивает. Он, такой искусный делец, славившийся верностью взгляда и ловкостью в воровских операциях, относился спустя рукава к домашнему хозяйству, к отчаянному беспорядку, который утраивал его расходы. Отсутствие хозяйки в доме чувствовалось на каждом шагу, в самых ничтожных мелочах. Сначала Каролина давала ему советы, потом вмешалась более активно, заставила его сократить кое-какие бесполезные расходы, так что, наконец, он предложил ей сделаться его домоправительницей. Почему нет? Она же искала места учительницы, отчего не принять и этого почетного положения, которое давало ей возможность ждать? Предложение, сделанное шуточным тоном, приняло серьезный характер. В самом деле, эти занятия развлекут ее саму и будут существенной поддержкой для брата: Саккар предложил ей 300 франков в месяц. Кончилось тем, что она приняла предложение и в одну неделю преобразовала хозяйство, отпустила повара с женой и заменила их кухаркой, оставила только одну лошадь и экипаж, сама наблюдала за всем, вела счета так аккуратно, что недели через две расходы уменьшились наполовину. Саккар был в восторге, говорил, шутя, что она должна назначить в свою пользу известный процент со всех сокращений, которые ввела в его хозяйство.

После этого они зажили очень интимной жизнью. Саккар велел открыть заколоченную дверь в третий этаж, и между двумя квартирами установилось постоянное сообщение. В то время как Гамлэн с утра до вечера корпел над своими проектами, Каролина сходила вниз, распоряжалась, отдавала приказания, во всякое время дня, как у себя дома. Саккар чувствовал себя счастливым, глядя на эту прекрасную крупную женщину с ее веселым молодым лицом в рамке седых волос, расхаживавшую по комнатам своей твердой величавой поступью. С тех пор, как она чувствовала себя полезной и занятой, к ней вернулась ее прежняя веселость, житейское мужество. Без всякой аффектации скромности, она носила вечно одно и то же черное платье, в карманах которого позвякивали ключи. И, конечно, ее забавляла мысль о том, что она со своей начитанностью, со своим философским образованием должна исполнять роль простой хозяйки, экономки у этого расточительного человека, к которому она начинала чувствовать нежность, как к шаловливому ребенку. Он, одно время очень увлекавшийся ею, воображал, что между ними всего четырнадцать лет разницы, и спрашивал себя, что будет, если он вздумает обнять ее. Неужели, расставшись с мужем, от которого ей досталось столько же побоев, сколько и ласк, она десять лет жила, не знаясь с мужчинами. Может быть, путешествия способствовали этому. Однако ему было известно, что один из друзей ее брата, некто Бодуэн, купец, живший в Бейруте, сильно увлекался ею и что они решили обвенчаться, как только умрет ее муж, который окончательно спился и сидел теперь в больнице для умалишенных. Очевидно, этот брак только оформит очень естественные, почти законные отношения. Но если у нее был

один любовник, почему не завести и другого? Однако, Саккар ограничивался этими размышлениями, довольствуясь пока ее дружбой и забывая о любви. Когда, при виде ее, он задавал себе вопрос, что произойдет, если он вздумает обнять ее, то отвечал сам себе, что произойдут самые обыкновенные, может быть, скучные вещи, и отлагал попытку до другого времени, ограничиваясь сильными рукопожатиями, радуясь ее искреннему расположению.

Но вдруг Каролина погрузилась в жестокую печаль. Однажды утром она явилась бледная, убитая, с опухшими от слез глазами. Он было стал расспрашивать, но ничего не мог добиться: она упорно отвечала, что с ней ничего не случилось, что она такая же как всегда. Только на другой день он понял в чем дело, найдя наверху письмо – извещение о женитьбе г. Бодуэна на дочери одного английского консула, молоденькой и очень богатой девушке. Удар должен был быть тем сильнее, что г. Бодуэн далее не счел нужным объясниться, распрощаться, ограничившись этой банальной запиской. Это была катастрофа в жизни несчастной женщины, терявшей последнюю надежду, за которую она цеплялась в минуту отчаяния. В довершение всего – случай тоже бывает безобразно жестоким – она задень перед тем узнала о смерти мужа и в течение двух суток мечтала о близком счастье. Жизнь ее была окончательно разбита. В тот же день на нее обрушился новый удар: вечером она по обыкновению зашла к Саккару сообщить о своих хозяйственных распоряжениях; он заговорил о ее горе с таким участием, что она разрыдалась; потом в припадке непреодолимой нежности, утратив всякую волю, почти бессознательно очутилась в его объятиях и отдалась ему без радости для него и для себя. Опомнившись, она не возмутилась, но печаль ее увеличилась безмерно. Зачем она сделала это? Ведь она не любила его, да и он не любил ее. Не то чтобы он казался ей недостойным любви, слишком старым, некрасивым... нет, ей нравилась его живость, его подвижная смуглая фигурка, ей хотелось верить, что он добрый, замечательный человек, способный привести в исполнение грандиозные проекты ее брата, и честный, по крайней мере, обыкновенную ходячую честностью. Но какое глупое падение! С ее благоразумием, с ее опытностью, с ее самообладанием отдаться так бессмысленно, Бог знает, зачем и как, в припадке слез, точно какая-нибудь сентиментальная гризетка! И что всего хуже, она чувствовала, что и он также удивлен и почти раздосадован этим приключением. Когда, стараясь утешить ее, он начал говорить о г. Бодуэне, как о ее бывшем любовнике, низкая измена которого заслуживала только забвения, и когда, возмущенная этими словами, она клялась, что не была его любовницей, он было усушился, думая, что в ней говорит оскорбленная гордость женщины; но она клялась с таким жаром, в ее прекрасных глазах светилась такая искренность, что он, наконец, поверил. Очевидно, она добросовестно дожидалась свадьбы; в свою очередь ее возлюбленный терпеливо ждал два года и, наконец, не вытерпел, соблазнившись богатством и молодостью другой. Замечательно, что это убеждение, которое, казалось, должно бы было усилить страсть Саккара, на самом деле привело его в смущение: он понял глупую фатальность своей удачи. Впрочем, они не возобновили начавшихся было отношений: по-видимому, ни тот, ни другая не чувствовали охоты к этому.

В течение двух недель Каролина бродила, как тень. Сила бытия, тот импульс, который превращает жизнь в необходимость и радость, оставила ее. Она продолжала свои занятия по хозяйству, но совершенно машинально, не вникая в смысл того, что делает. Она работала, как машина, бессознательно. В этой утрате бодрости и веселья для нее осталось одно развлечение – проводить все свободные часы у окна, в кабинете, припав лбом к стеклу и устремив неподвижный взор в сад отеля Бовилье. С первых же дней своего поселения в доме Орвието она догадалась, что там, в этом отеле, гнездится печаль, та горькая нищета, которая кажется еще более горькой от того, что старается спрятаться под оболочкой внешнего декораума. Там тоже обитали существа, удрученные горем, и ее печаль как бы закалялась в их слезах; ей казалось, что она замирает, становится бесчувственной, подавленная чуждым горем.

Когда-то Бовилье владели огромными имениями в Турэни и Анжу и великолепным отелем в улице Гренелл, но от всего этого богатства у них осталась только эта дача, построен-

ная за чертой города в начале прошлого столетия, теперь же затерявшаяся среди мрачных зданий улицы Сен-Лазар. Несколько прекрасных деревьев еще оставались здесь, как бы на дне колодца; мох разъедал потрескавшиеся ступени балкона. Казалось, уголок природы попал в темницу, – тихий и грустный уголок, где на всем лежала печать смерти и немного отчаяния, куда солнце посылало только жалкие зеленоватые лучи, заставлявшие вздрагивать от холода. Первое лицо, замеченное ею в этом тихом погребке, на разрушающемся балконе, была графиня Бовилье, худошавая, важная шестидесятилетняя дама, совершенно седая, с очень благородной наружностью, казавшаяся несколько старше своих лет. Со своим прямым носом, тонкими губами, длинной шеей она напоминала старого, дряхлого лебедя. Следом за ней появилась ее дочь, Алиса Бовилье, двадцатипятилетняя девушка, такая худенькая, что ее можно бы было принять за ребенка, если бы цвет кожи и резкие сформировавшиеся черты лица не обличали ее возраста. Это была вылитая мать, но еще более хрупкая, с менее аристократическим видом, с длинною до безобразия шеей, сохранившая только грустную прелесть последнего отпрыска великой расы. Они жили одни, с тех пор как сын графини, Фердинанд Бовилье, поступил в папские зуавы после битвы при Кастельфидардо, проигранной Ламорисьером. Ежедневно, если только не было дождя, они появлялись на балконе, спускались в сад и молча обходили вокруг лужайки. Тут были только шпалеры из плюща, цветов не было, потому ли, что они не принимались здесь, или потому, что стоили слишком дорого, и эти бледные фигуры, медленно прогуливавшиеся в запустелом саду под столетними деревьями, видевшими столько празднеств, а ныне задыхавшимися в тесноте буржуазных домов, – дышали какой-то меланхолической грустью, скорбью о погибшем прошлом.

Заинтересовавшись своими соседками, Каролина стала следить за ними с искренней симпатией, без всякого злорадства; и мало-помалу проникла в тайну их жизни, которую они тщательно скрывали от посторонних взоров. Они держали лошадь и экипаж, за которыми смотрел старик слуга, исполнявши разом должность лакея, кучера и дворника; также как кухарка была в то же время и горничной. Но если экипаж появлялся в приличном виде на улицах, если на обедах, зимою, два раза в месяц, когда приглашались кое-какие друзья, обнаруживалась некоторая роскошь, то какими долгими постами, какой скаредной экономией покупался этот призрак богатства! В маленьком сарае, скрытом от посторонних взоров, шла постоянная стирка, чтоб уменьшить счет прачки; скудные наряды заштопывались и перешивались; на ужин подавалось немного овощей, хлеб, который нарочно высушивался, чтобы поменьше съесть. Тут были всевозможные уловки жалкой, нищенской, скаредной экономии; кучер штопал дырявые ботинки барышни, кухарка чернила вылинявшие перчатки графини; платья матери переходили к дочери после самых затейливых переделок; шляпки служили по несколько лет при помощи новых лент и цветов. Когда не ожидали гостей, салоны первого и большие комнаты второго этажа тщательно запирались, так как обе женщины занимали одну маленькую комнатку, служившую им и столовой и спальней. Если окно случайно оставалось открытым, можно было видеть графиню, штопавшую белье, как заботливая буржуазка, тогда как дочь вязала чулки или митэнки для матери. Однажды, после сильной бури, обе спустились в сад подгрести, песок, размытый потоками дождя.

Каролина узнала всю их историю. Графиня Бовилье много натерпелась от мужа, беспутного гуляки, на которого, однако, никогда не жаловалась. Однажды в Вандоме его принесли с охоты смертельно раненого. Говорили, будто какой-то ревнивый сторож, у которого он соблазнил жену или дочь, пустил в него пулю. Что всего хуже, с его смертью исчезли последние крохи состояния Бовилье, когда-то колоссального, заключавшегося в огромных земельных угодьях, уменьшившегося уже в эпоху революции и окончательно спущенного его отцом и им самим. От всех этих имений осталась только ферма Обле, близ Вандома, дававшая в год около пятнадцати тысяч франков, – единственный источник существования для вдовы и ее двух детей. Отель в улице Гренелл давно уже был продан, отель в улице Сен-Лазар поглощал большую

часть пятнадцати тысяч франков, получаемых с фермы: он был заложен и перезаложен, приходилось выплачивать проценты, иначе ему также грозила продажа с молотка. На содержание четырех человек, на поддержку известного декорума, от которого аристократическая семья не хотела отказаться, – оставалось шесть-семь тысяч франков. Оставшись вдовой восемь лет тому назад, с сыном двадцати одного года и дочерью семнадцати лет, графиня упорствовала в своей аристократической гордости, поклявшись скорее питаться хлебом и водой, чем отступить от традиций. С тех пор все ее мысли сосредоточивались на том, чтобы поддерживать образ жизни, достойный их ранга, выдать дочь за аристократа и поместить сына в военную службу.

Сначала Фердинанд причинял ей смертельное беспокойство вследствие кое-каких грешков молодости, долгов, которые приходилось уплачивать; но после торжественного объяснения, узнав о положении семьи, он образумился, как мальчик в сущности добрый, хотя ленивый и пустой, не находивший занятия и места в современном обществе. Теперь его служба в папских зуавах была источником тайной скорби для матери. Слабого здоровья, хрупкий и деликатный, несмотря на горделивую наружность, с истощенной кровью, он должен был страдать в римском климате. Что касается брака Алисы, то он откладывался в такой долгий ящик, что глаза княгини всякий раз наполнялись слезами, когда она смотрела на нее, уже состарившуюся, увядавшую в тщетном ожидании. При незаметной, меланхолической наружности она вовсе не была дурочкой; мечтала о жизни, о счастье, о любимом человеке, но, не желая огорчать семью, делала вид, что отказалась от всего, подшучивала над браком, говорила, что ее призвание быть старой девушкой, а по ночам рыдала, изнывая от горького одиночества. Графиня, однако, ухитрилась какими-то чудесами экономии отложить двадцать тысяч франков, – все приданое Алисы: кроме того, ей удалось сохранить несколько драгоценностей – браслет, кольца, серьги, ценою, приблизительно, тысяч в двенадцать франков; этим и исчерпывалось приданое, брачная корзина, о которой она даже не решалась говорить, едва достаточная для необходимых издержек, если бы явился ожидаемый жених. Тем не менее, она не хотела отчаиваться, боролась, несмотря ни на что, не желая отказываться от привилегий своего рождения, всегда высокомерная, соблюдая все приличия, неспособная выйти на улицу пешком или вычеркнуть одно блюдо на званом обеде; но, отказывая себе во всем в своей домашней жизни, питаясь по целым неделям картофелем без масла, чтоб только прибавить пятьдесят франков к вечно недостаточному приданому дочери. Это был скорбный и ребяческий героизм повседневной жизни, их дом мало-помалу разрушался над их головами.

До сих пор Каролине не представлялось случая заговорить с графиней или ее дочерью. В конце концов, она узнала мельчайшие детали их жизни, которые они считали скрытыми от всего мира; иногда они обменивались взглядами, в которых чувствовалась внезапно возникающая симпатия.

Они сблизилась благодаря княгине Орвиедо. Ей пришлось в голову организовать для своего Дома трудолюбия нечто вроде наблюдательной комиссии, состоящей из десяти дам, которые должны были собираться два раза в месяц, посещать и осматривать дом, контролировать служащих. Членов этой комиссии она решила выбрать сама; и одна из первых, на которую пал ее выбор, была графиня Бовилье, когда-то ее большая приятельница, а теперь, после того как она отказалась от света, – просто соседка. Случайно эта комиссия потеряла своего секретаря, и Саккар, по-прежнему управлявший домом, рекомендовал княгине Каролину в качестве образцового секретаря как нельзя более подходившего для них: в самом деле, это была очень хлопотливая должность, требовавшая большой письменной работы, даже некоторых материальных забот, несколько пугавших этих важных дам. С первых же шагов Каролина оказалась удивительной сестрой милосердия: неудовлетворенный инстинкт матери, пламенная любовь к детям вылились в форму деятельной нежности к этим бедным существам, которые надо было спасти из парижской клоаки.

На одном из заседаний комиссии она встретила графиню Бовилье; последняя, однако, ограничилась довольно холодным приветствием, скрывая тайное смущение, чувствуя, без сомнения, в Каролине свидетельницу своей нищеты. С этих пор они раскланивались всякий раз, когда их взоры встречались, и было бы слишком невежливо сделать вид, что не узнаешь друг друга.

Однажды, когда Гамлэн поправлял какой-то план по новым расчетам, а Саккар следил за его работой, Каролина, стоя у окна, смотрела на графиню и ее дочь, прогуливавшихся по саду. Сегодня на них были башмаки, которых бы не подобрала тряпичница.

– Ах, бедные женщины, – пробормотала она, – как должна быть горька и ужасна эта комедия роскоши, которую им приходится разыгрывать.

Она спряталась за занавеской, опасаясь, что мать заметит ее и будет оскорблена этим шпионством. Сама она успокоилась, скорбь ее мало-помалу улеглась; казалось, вид чужого несчастья заставлял ее бодрее относиться к своему горю, хотя одно время она видела в нем чуть ли не гибель всей своей жизни. Она снова начинала смеяться. С минуту еще она следила за двумя женщинами, прогуливавшимися по саду в глубокой задумчивости. Потом, обернувшись к Саккару, сказала оживленным тоном:

– Скажите, почему я не могу быть печальной?.. Да, что бы со мной ни случилось, моя печаль скоро проходит... Неужели это эгоизм? Не думаю. Это было бы слишком гадко; притом же, как бы я ни была весела, мое сердце разрывается при виде малейшего несчастья. Устраните его, я снова развеселюсь, но я плакала бы над всеми несчастными, если б не удерживалась, зная, что это бесполезно, что кусок хлеба лучше устроит их дела, чем мои бесполезные слезы.

Говоря это, она смеялась своим бодрым смехом, как мужественная женщина, предпочитающая дело бесплодным сожалениям.

– А между тем, – продолжала она, – видит Бог, что у меня есть основание отчаиваться. Ах, судьба не баловала меня до сих пор... Выйдя замуж, попавши в этот ад, терпя оскорбления и побои, я думала, что мне осталось только броситься в воду. Однако я не бросилась, и не прошло двух недель со времени нашего отъезда на Восток, я уже развеселилась, была полна надежд... Когда мы вернулись в Париж и начали терпеть нужду во всем, я проводила ужасные ночи, мне снилось, что мы умираем с голода над нашими проектами. Мы не умерли, и я снова стала мечтать о грандиозных предприятиях... Наконец, последний жестокий удар, о котором я еще боюсь говорить, казалось, доконал меня; мое сердце точно остановилось; я положительно чувствовала, что оно перестало биться; я думала, что все кончено, что я уже мертва... И что же, вот я опять смеюсь, завтра буду надеяться, снова захочу жить... Не странно ли это – быть неспособной к продолжительной печали!

Саккар, который тоже смеялся, пожал плечами.

– Ба, ведь и все так же. Это и есть жизнь.

– Вы думаете? – воскликнула она с удивлением, – Мне кажется, есть столько печальных людей, которые сами отравляют себе жизнь, видя ее в черном свете... О, я тоже не считаю ее сладкой и красивой. Она слишком жестока, я видела ее близко, беспристрастными глазами, она ужасна или отвратительна. И все-таки я люблю ее. Почему – не знаю. Пусть все вокруг меня крушится и валится – на другой день я по-прежнему буду весела и доверчива на развалинах... Я часто думала, что таково же и все человечество: оно живет в ужасной нищете, но юность каждого поколения придает ему бодрости. После каждого кризиса я оживаю как бы в новой юности, новой весне, свежесть которой ободряет и веселит меня. Это до такой степени верно, что, когда после сильного горя я выхожу на улицу в солнечный день, я тотчас оживаю, начинаю снова любить, надеяться, быть счастливой. Даже возраст не имеет власти надо мной; я так наивна, что не замечаю старости. Я читала слишком много для женщины и теперь не знаю, куда стремлюсь, как и весь широкий мир. Только, несмотря ни на что, мне кажется, что я и все мы идем к чему-то очень хорошему и веселому.

Она кончила шуткой, несмотря на внутреннее волнение, стараясь не показать, что расчувствовалась под влиянием вновь пробудившейся надежды. Между тем брат поднял голову и смотрел на нее с выражением благодарного обожания.

– О, ты, – произнес он, – ты создана для катастроф, ты воплощенная любовь к жизни.

Эти ежедневные беседы по утрам мало-помалу приняли характер какого-то лихорадочного оживления, и если Каролина вернулась к прежней веселости, то только благодаря Саккару, вдохнувшему в нее мужество своей страстью к великим аферам. Они уже почти решили приняться за дело. Все оживлялось и принимало грандиозные размеры при взрывах его резкого голоса. Сначала утвердятся на Средиземном море, овладеют им при помощи компании соединенных пакетботов. Саккар перечислял порты прибрежных стран, в которых будут устроены станции, припоминал классиков, превозносил это море, единственное море, известное древнему миру, видевшее расцвет цивилизации, омывавшее своими голубыми волнами Афины, Рим, Александрию, Тир, Карфаген, Марсель – все города, создавшие Европу. Потом, когда путь на Восток будет обеспечен, начнут работу в Сирии, начнут с небольшого предприятия – общества кармельских серебряных рудников; конечно, оно даст немного, несколько миллионов, заработанных мимоходом, но для начала это прекрасно, так как мысль о серебряных жилах, о деньгах, выкапываемых прямо из земли лопатой всегда соблазняет публику, в особенности если прицепить к ней громкое, звучное имя, например, Кармель. Далее, там есть каменноугольные копи, которые тоже будут стоить золота, когда страна покроется заводами, не считая других мелких предприятий, которые будут исполнены между прочим; банки, синдикаты для разных отраслей промышленности, эксплуатация огромных Ливанских лесов, где могучие деревья гниют на месте, за недостатком дорог. Наконец, он переходил к главному: компании железных дорог на Востоке. Тут он приходил в экстаз: эта сеть железных дорог, охватившая всю Малую Азию, из конца в конец, должна была разом проглотить древний мир, как новую добычу, еще нетронутую, с ее неисчерпаемым богатством, скрывавшимся в невежестве и грязи веков. Он чуял в ней сокровища, он ржал, как боевой конь при звуках битвы.

Каролина, несмотря на свой здравый смысл и скептическое отношение к слишком пылким, фантазиям, тоже увлекалась, этим энтузиазмом, не замечая его крайностей. В сущности, эти планы были под стать ее любви к Востоку, ее сожалению об этой чудной стране, где она считала себя счастливой и, сама того не сознавая, она все более и более прищипоривала увлечение Саккара своими яркими описаниями, преувеличенными рассказами. Начиная говорить о Бейруте, она не могла остановиться: Бейрут, у подошвы Ливана, на узкой косе, между красной песчаной отмелью и горами скал, обвалившихся с гор, Бейрут со своим амфитеатром домов, рисовался в ее рассказах каким-то восхитительным раем, засаженным апельсинами, лимонами и пальмами. Потом следовали один за другим остальные города: на севере – Антиохия, утратившая свой древний блеск, на юге Саида – древний Сидон, Сен-Жан д Арка, Яффа и Тир, нынешний Сур, который резюмирует их всех: Тир, чьи купцы были царями, чьи моряки обогнули Африку, и который ныне со своей гаванью, занесенной песком, превратился в пустырь, покрытый пылью, дворцов, где возвышаются только жалкие рассеянные хижины рыбаков. Она сопровождала брата всюду: видела Алеппо, Ангору, Бруссу, Смирну, Ирапезунд, прожила с месяц в Иерусалиме, уснувшим в торговле святыми местами, потом два месяца в Дамаске, царе Востока, промышленном и торговом городе, куда сходятся караваны из Мекки и Багдада. Она познакомилась также с горами и долинами, видела деревушки Маронитов и Друзов, лепящиеся на скалах, затерянные в глубине ущелий, среди возделанных и бесплодных полей. И отовсюду, из самых глухих закоулков, из немых пустынь и шумных городов она вынесла одинаковое изумление перед роскошью неистощимой природы, одинаковый гнев на глупость и злобу людей! Сколько естественных богатств, лежащих втуне или испорченных! Она рассказывала о податях, убивающих торговлю и промышленность; о глупом законодательстве, которое не позволяет отдавать земледелию капиталы свыше известной суммы; о рутине, в силу которой

крестьянин до сих пор пользуется той же сохой, что и до Рождества Христова; о невежестве, в котором погрязли эти миллионы людей, подобные детям-идиотам, остановившимся в развитии. Когда-то берег казался слишком тесным, города почти касались друг друга; теперь жизнь перешла на Запад, и проезжая по этим странам, кажется, будто видишь огромное заброшенное кладбище. Ни школ, ни дорог, мерзейшее правительство, продажный суд, гнусная администрация, громадные налоги, бессмысленные законы, леность, фанатизм, не говоря уже о вечных гражданских войнах, о побоищах, которые стирают с лица земли целые деревни. Она выходила из себя, она спрашивала, можно ли так уродовать дело природы, благословенную, чудную землю, где сходятся все климаты – знойные равнины, умеренные склоны гор, вечный снег далеких вершин. И ее страстная любовь к жизни, ее упорные надежды электризовали ее при мысли о волшебной силе науки и спекуляции, которая разбудит эту заснувшую страну.

– Увидите! – воскликнул Саккар, – в этом Кармельском ущелье, где теперь нет ничего, кроме камней и мастиковых деревьев, в этом самом ущелье, после того, как мы примемся за разработку серебряных жил, вырастет деревня, потом город... Мы вычистим все эти гавани, занесенные песком, защитим их крепкими плотинами. Корабли будут останавливаться там, куда теперь не смеют сунуться барки... Вы увидите, какая жизнь закипит в этих безлюдных равнинах, в этих пустынных ущельях, когда их пересекут железные дороги! Да, пойдут расчищать поля, проводить дороги и каналы, строить города... Жизнь вернется в эту страну, как в изнуренное болезнью тело, когда в его вены вливают новую кровь... Да, деньги создадут все эти чудеса!

При звуках этого резкого голоса Каролина почти видела возникающую цивилизацию. Наброски и планы оживлялись и пустыни населялись: сбывалась ее мечта о Востоке, очищенном от грязи, избавленном от гнета невежества, пользующемся плодоносной почвой, чудным небом, всеми ухищрениями науки.

Однажды она уже видела подобное чудо: в Порт-Сайде, который в несколько лет превратился из голой равнины, сначала в группу хижин, где ютились первые работники, потом в город с двумя тысячами жителей, с десятью тысячами жителей, с огромными домами, магазинами, кипучей жизнью и благосостоянием, созданными упорством людей-муравьев. Об этом она и мечтала – об упорном, непреодолимом движении вперед, о социальной работе, стремящейся к наибольшему возможному счастью, о деятельности, стремлении все дальше и дальше, Бог весть куда, но, во всяком случае, к лучшей жизни, лучшим условиям; о земном шаре, перерытом этим муравейником, который вечно переделывает свое жилье, о непрерывной работе, о новых благах, об удесятерившемся могуществе человека, обо все большем и большем подчинении земли его власти. Деньги в союзе с наукой создадут прогресс.

Гамлэн, слушавший их с улыбкой, напомнил о благоразумии.

– Все это поэзия результатов, а мы еще не приступили даже к прозе организации дела.

Но Саккар по-прежнему увлекался грандиозными концепциями, особенно с тех пор, как, принявшись за чтение книг о Востоке, наткнулся на историю египетской экспедиции. Уже крестовые походы, этот возврат Запада на Восток, в свою колыбель, это великое движение Европы в древние страны, в то время еще цветущие, сильно подействовало на его воображение. Но еще более поразила его величавая фигура Наполеона, отправляющегося воевать в Египет с грандиозной и таинственной целью. Конечно, говоря о завоевании Египта, собираясь доставить Франции торговлю с Востоком, он не высказывал всех своих планов; и Саккару мерещился в этой смутной и не выяснившейся стороне экспедиции Бог знает какой проект колоссального честолюбия, восстановление обширной империи, увенчание Наполеона в Константинополе императором Востока, и Индии, осуществившим мечту Александра, превзошедшим величие Цезаря и Карла Великого. Разве не сказал он на острове св. Елены, говоря о Сиднее, английском генерале, остановившем его перед Сен-Жан-д Акрой: «Этот человек погубил мое счастье». И то, что пытались сделать крестовые походы, чего не мог исполнить Наполеон, –

гигантский план завоевания Востока, – вдохновлял Саккара; но завоевания разумного, при помощи двойной силы науки и денег. Если цивилизация шла с Востока на Запад, почему бы ей не вернуться на Восток, в древний сад человечества, в этот Эдем индийского полуострова, дремлющий под гнетом вековой усталости. Это будет новая юность; он гальванизирует земной рай, сделает его обитаемым посредством, пара и электричества, создает, из Малой Азии центр Востока, так как в ней сходятся великие естественные пути, связующие материки. Тут будут добываться уже не миллионы, а миллиарды и миллиарды.

С этих пор у них с Гамлэном ежедневно происходили долгие совещания. Если надежда была велика, то и затруднения огромны и многочисленны. Инженер, который был в Бейруте, в 1862 г. во время ужасного избиения христиан-маронитов друзьями, не скрывал затруднений, представляемых этими вечно воюющими племенами, отданными в жертву местным властям. Впрочем, он вступил в сношение с могущественными лицами в Константинополе, мог рассчитывать на поддержку великого визиря, Фуада-паши, человека с большими заслугами, открытого сторонника реформ, и надеялся получить от него все необходимые концессии. С другой стороны, хотя он и пророчил неизбежное банкротство оттоманской империи, но видел скорее благоприятное условие в этой вечной нужде в деньгах: нуждающееся правительство, не представляя личной гарантии, всегда готово поладить с частными предприятиями, если может рассчитывать на малейшую выгоду. Нельзя ли таким образом решить вечный и запутанный восточный вопрос, заинтересовав турецкую империю в великих цивилизаторских работах, толкнув ее на путь прогресса, чтобы она перестала, наконец, торчать в виде чудовищного межевого столба между Европой и Азией.

Однажды утром Гамлэн спокойно изложил свою тайную программу, на которую намекал иногда и раньше и которую называл, смеясь, увенчанием здания.

– Когда мы добьемся господства, мы сделаем королевством Палестину и переселим туда папу. Сначала можно будет удовольствоваться Иерусалимом и Яффой, как приморским портом. Потом Сирия будет объявлена независимой и присоединена сюда же. Вы знаете, что скоро папе нельзя будет оставаться в Риме, в виду возмутительных унижений, которые ему готовят. Мы должны быть готовы к этому дню.

Саккар с изумлением слушал, как он развивал эти мысли самым естественным тоном, с глубокой верой католика. Он сам не отступал перед экстравагантными фантазиями, но никогда не заходил так далеко. Этот ученый, с виду такой холодный, приводил его в изумление.

– Это безумие! – воскликнул он. – Порта не отдаст Иерусалима.

– О, почему же, – спокойно отвечал Гамлэн. – Она так нуждается в деньгах. Иерусалим причиняет ей много хлопот, она охотно избавится от него. Часто она не знает, чью сторону принять в различных исповеданиях, оспаривающих власть над, святыми местами. При том папа встретит поддержку в христианах-маронитах: вы знаете, он устроил в Риме коллегия для их священников. Наконец, я все обдумал, все взвесил. Это будет новая эра, новое торжество католицизма. Может быть, скажут, что это значит заходить слишком далеко, что папа будет при этом как бы удален, оторван от Европы. Но в каком блеске, в каком ореоле явится его власть, когда он будет царствовать в святых местах, говорить именем Христа в священной земле, где учил Христос. Там его наследие, там же должно быть его царство. И будьте покойны, мы сделаем это царство крепким и прочным, мы обезопасим его от всяких политических замешательств, основав его бюджет, гарантируемый всеми средствами страны, на обширном банке, акции которого будут раскупать нарасхват католики всего мира.

Саккар, улыбаясь, уже прельщенный, хотя и не убежденный, грандиозностью проекта, не мог не ободрить его веселым восклицанием:

– Казна Гроба Господня! Великолепно! Это дело! – Но, встретив значительный взгляд Каролины, которая тоже улыбалась немного скептически, даже с некоторой досадой, он устыдился своего энтузиазма.

– Во всяком случае, любезный Гамлэн, мы будем пока держать в секрете это увенчание здания, как вы выражаетесь. Иначе над нами, пожалуй, станут смеяться. Притом же наша программа и без того громадна: ее крайние последствия, блистательный финал лучше сообщить пока только посвященным.

– Без сомнения! Таково и было мое намерение, – объявил инженер. – Это останется тайной.

После этого было окончательно решено приняться за осуществление всей этой огромной серии планов. Для начала будет открыт скромный банк; потом, по мере успеха, мало-помалу они овладеют рынком, покорят мир.

На следующее утро, поднимаясь к княгине Орвиедо за каким-то распоряжением насчет Дома трудолюбия, Саккар вспомнил о том, как он мечтал одно время сделаться мужем этой царицы благотворительности, простым распорядителем и управляющим имущества бедных. Он улыбнулся, находя эту мечту довольно глупой. Ему суждено создавать жизнь, а не лечить раны, наносимые жизнью. Наконец-то он найдет свою настоящую дорогу, в войне интересов, в стремлении к счастью, которое является и задачей человечества, из века в век стремящегося к свету и радости.

В тот же день он застал Каролину одну в кабинете с чертежами. Она стояла перед окном, удивленная неожиданным появлением графини Бовилье и ее дочери в саду в неурочный час. Они были очень печальны и читали какое-то письмо; без сомнения, от Фердинанда, положение которого в Риме, вероятно, было не особенно блестящим.

– Посмотрите, – сказала Каролина Саккару, – еще какое-то горе у этих несчастных. Нищие на улице не так огорчают меня.

– Ба! – воскликнул он весело, – Пошлите их ко мне. Мы обогатим и их, мы обогатим весь мир.

И в порыве лихорадочного веселья он хотел поцеловать ее. Но она отшатнулась, отдернула голову, побледнела.

– Нет, пожалуйста!

С тех пор, как она отдалась ему в почти бессознательном состоянии, он еще ни разу не пытался обнять ее. Теперь, когда дела были порешены, он вспомнил о своем успехе, желая и с этой стороны уяснить положение, ее резкое движение несколько изумило его.

– Неужели вам неприятно?

– Да, очень неприятно.

Она успокоилась и тоже улыбалась.

– Притом, сознайтесь, что и вы вовсе не любите меня.

– О, я вас обожаю.

– Нет, не говорите пустяков, вы слишком занятой человек для этого! Впрочем, я готова разделить с вами дружбу, если вы такой деятельный человек, как я думаю, и исполните великие предприятия, о которых говорите... Право, дружба гораздо лучше.

Он слушал, по-прежнему улыбаясь, смущенный и, тем не менее, убежденный. Она отталкивала его; это было смешно; но страдало только его тщеславие.

– Итак, будем друзьями...

– Да, я буду помогать вам... Другими, большими друзьями...

Она наклонилась к нему, и, чувствуя ее правоту, он крепко поцеловал ее.

### III

Письмо русского банкира из Константинополя было благоприятным ответом, ожидавшимся, чтобы начать дело в Париже, и на следующий же день, проснувшись утром, Саккар решил, что ему следует взяться за хлопоты немедленно, чтобы к вечеру составить синдикат для помещения пятидесяти тысяч акций своего анонимного общества с капиталом в двадцать пять миллионов.

Вскочив с постели, он внезапно нашел название этого общества, которое искал уже давно. Слова: «Всемирный Банк» засияли перед ним точно огненными буквами в темной еще комнате.

– Всемирный банк, – повторял он, одеваясь, – это просто, это грандиозно, это всеобъемлюще... Да, да, великолепно! Всемирный банк!

До половины десятого он расхаживал по комнатам, поглощенный своими мыслями, не зная, как ему начать эту погоню за миллионами. Двадцать пять миллионов найти не долго, но его затруднял выбор, он хотел приняться за дело методически. Он выпил чашку молока, снисходительно выслушал донесение кучера, который заявил, что лошадь заболела, вероятно, вследствие простуды, и что следовало бы позвать ветеринара.

– Хорошо, позовите... Я возьму фиакр.

Но на улице его поразил резкий, холодный ветер, внезапный возврат зимы в начале мая. Он не взял фиакра, чтобы согреться ходьбой, и решил, прежде всего, зайти к Мазо, на Банковую улицу: ему пришло в голову потолковать с Дегрэмоном, очень известным спекулянтом, счастливым участником всяких синдикатов. Однако на улице Вивьен небо покрылось свинцовыми тучами и разразилось таким ливнем, пополам с градом, что он укрылся в воротах.

С минуту уже Саккар стоял, глядя на ливень, когда ясный звон золотых монет, отчетливо слышимый даже сквозь шум дождя, заставил его наострить уши. Казалось, он выходил из-под земли, легкий и музыкальный, как в одном из рассказов «Тысячи и одной ночи». Он оглянулся и увидел, что стоит перед домом Кольба, банкира, занимавшегося арбитражем с золотом: он скупал звонкую монету в странах, где ее курс стоял низко, переливал ее в слитки и сбывал их в страны с высоким курсом золота. В дни переплавки из его подвалов с утра до вечера раздавался этот хрустальный звон золотых монет, бросаемых лопатой в горн. Прохожие слышат этот звон в течение целого года. Саккар с улыбкой прислушивался к этой музыке, к этому подземному голосу Биржевого квартала. Он видел в этом счастливое предзнаменование.

Когда дождь перестал, он перешел через площадь к конторе Мазо. Против обыкновения, молодой маклер помещался в первом этаже того же дома, где находилась его контора. Он просто занял квартиру своего дяди, когда по смерти последнего выкупил его должность у других наследников.

Было десять часов, и Саккар поднялся прямо в контору, у дверей которой встретил Гюстава Седилля.

– Г. Мазо в конторе?

– Не знаю, сударь, я только что пришел.

Молодой человек улыбался, он вечно запаздывал, относясь к своим занятиям спустя рукава, как простой любитель, служащий без жалованья, имея в виду только отбыть кое-как два года в угоду отцу, шелковому фабриканту из улицы des Jeuneurs. Саккар прошел через кассу, поздоровался с кассирами и вошел в кабинет поверенных, из которых в настоящую минуту был дома только Бертье, обязанный вести сношения с клиентами и сопровождать патрона на биржу.

– Г. Мазо у себя?

– Да, кажется; я сейчас из его кабинета... Ах, нет, он должен быть в конторе текущих счетов...

Он отворил соседнюю дверь и заглянул в довольно большую комнату, где пятеро служащих работали под руководством главного конторщика.

– Нет, это удивительно... Потрудитесь сами заглянуть в контору ликвидаций, вон там...

Саккар вошел в контору ликвидаций. Здесь ликвидатор, главное лицо маклерского дела, при помощи семи человек служащих, разбирал памятную книгу, ежедневно приносимую маклером с биржи, и распределял конченные дела между клиентами сообразно полученным ордерам, пользуясь для справок именами, записанными на клочках бумаги, так как в самой книге не обозначено имен, а сделаны только краткие отметки насчет покупки или продажи: столько-то, такой-то стоимости, по такому-то курсу, от такого-то агента.

– Где г-н Мазо? – спросил Саккар.

Но ему даже не ответили. Ликвидатор в эту минуту вышел; трое служащих читали газеты, двое зевали по сторонам, тогда как Флори, занимавшийся по утрам в конторе, а после полудня на бирже, где на его обязанности лежали телеграммы, был крайне заинтересован приходом Гюстава Седилля. Родившись в Сайте от отца, служившего в регистратуре, он был сначала комми у одного банкира в Бордо, потом, в конце прошлой осени, приехал в Париж и поступил к Мазо, имея в виду самое большее, получать двойное жалованье лет через десять. До сих пор он вел себя очень хорошо, исполнял свое дело добросовестно. Но с месяц тому назад поступил в контору Гюстав, очень веселый, распушенный малый, с деньгами, и начал сбивать с толку Флори, сведя его с женщинами. Флори, несмотря на густую бороду, почти скрывавшую его лицо, был тоже недурен собой, с чувственным носом, умильным ртом, нежными глазами. Он завел дешевую интрижку с m-ле Шюшю, фигуранткой из Варьете, очень забавной с своим истощенным личиком, на котором светилась пара великолепных карих глаз.

Гюстав, еще не сняв шапки, принялся рассказывать, как он провел вечер накануне.

– Ну, милый мой, я думал, что Жермена выпроводит меня, потому что пришел Якоби. Однако она ухитрилась выпроводить его, уж не знаю каким образом. А я остался.

Оба покатались со смеху. Дело шло о Жермене Кер, пышной двадцатипятилетней девушке, немного ленивой и рыхлой, которую один из коллег Флори, еврей Якоби, содержал помесечно.

Она всегда водилась с биржевиками и всегда помесечно; это очень удобно для занятых людей, с головой, вечно полной цифрами, платящих за любовь, как и за все остальное, не имеющих досуга для настоящей страсти. Она жила в маленькой квартирке на улице Мишодьер, и единственной заботой ее было предотвращать встречи между лицами, которые могли бы окатиться знакомыми.

– Как же, – спросил Флори, – я ведь думал, что вы знаете с прекрасной лавочницей?

Но при этом намеке на г-жу Копен Гюстав сделался серьезен. Это была почтенная, порядочная женщина и всегда умела заставить молчать своих поклонников. Поэтому, не желая отвечать, Гюстав в свою очередь предложил вопрос:

– Что ж, сводили вы m-ле Шюшю в Мабиль?

– Нет, это слишком дорого... Мы вернулись домой к чаю.

Саккар, стоя за спиной молодых людей, слышал имена женщин, которые они торопливо шептали друг другу. Он усмехнулся и спросил у Флори:

– Скажите, был здесь г-н Мазо?

– Да, сударь, но он вернулся в свою квартиру... Кажется, его сын болен, ему сообщили о приходе доктора... Потрудитесь позвонить к нему, а то он может уйти, не заходя сюда.

Саккар поблагодарил и поспешил сойти в первый этаж. Мазо был из молодых маклеров; судьба ему благоприятствовала: по смерти дяди он получил одно из самых выгодных маклерств в Париже в возрасте, когда обыкновенно еще только знакомятся с делами. Маленького роста,

красивый, с темными усиками, блестящими черными глазами, он был очень деятелен, отличался быстрою сообразительностью. На бирже отзывались с большой похвалой об этой живости тела и духа, столь необходимых в его должности, которые в соединении с большим чутьем заставляли думать, что он пойдет далеко; не говоря уже о том, что он обладал резким голосом, получал из первых рук сведения с иностранных бирж, поддерживал сношения со всеми главными банкирами, наконец, имел какого-то родственника в Агентстве Гаваса. Жена его, очень хорошенькая, вышла за него по любви и принесла ему миллион двести тысяч франков приданого; у них уже было двое детей: девочка трех лет и мальчик полуторагодовой.

Как раз в эту минуту Мазо провожал на лестницу доктора, который успокаивал его, смеясь.

– Войдите, – сказал он Саккару. – С этими ребятишками просто беда; волнуешься из-за каждого прыщика.

Он ввел его в гостиную, где еще оставалась его жена с ребенком в руках, тогда как девочка, радуясь, что мать развеселилась, лезла к ней целоваться. Молодая мать казалась такой же деликатной и невинной, как и дети: все трое белокурые, свежие, как молоко. Мазо поцеловал ее в голову.

– Ну, вот, видишь, мы напрасно подняли тревогу.

– Все равно, друг мой, я так рада, что он успокоил нас.

Саккар поздоровался со счастливой четой. В этой роскошно убранной комнате чувлось счастье семейной жизни, не смущаемой никаким разладом: в течение четырех лет, со времени их брака, только однажды прошел слух о мимолетной интрижке Мазо с какой-то певицей Комической Оперы. Он оставался верным мужем, также как и добросовестным маклером, не пускаясь в азартную игру за свой счет, несмотря на увлечения молодости. И это дыхание счастья, безоблачного мира, чувлось в коврах и драпировках, в благоухании, разливавшемся по всей комнате, от огромного букета роз, едва умещавшегося в китайской вазе.

Г-жа Мазо, зная Саккара, весело спросила его:

– Не правда ли, для того, чтобы быть счастливым, достаточно желать счастья?

– Я уверен в этом, сударыня, – отвечал он. – и потом, есть личности настолько добрые и прекрасные, что несчастье не смеет коснуться их.

Она встала вся сияющая и, поцеловав мужа, ушла, унося ребенка, тогда как девочка повисла на шее отца, а потом побежала за ними. Последний, желая скрыть свое волнение, обратился к гостю шутивным тоном парижанина:

– Как видите, мы еще не надоели друг другу.

Потом быстро прибавил:

– Вы по делу?.. Хотите, пройдем в контору; там нам будет удобнее.

Наверху они встретили Сабатани, и Саккар с удивлением заметил, что маклер обменялся со своим клиентом самым дружеским рукопожатием. Войдя в кабинет, он объяснил цель своего посещения, спрашивая о формальностях, которые нужно исполнить, чтобы выпустить бумагу по официальной котировке. Мимоходом он упомянул о затеваемой им афере, Всемирном Банке, с капиталом в двадцать пять миллионов. Да, кредитный дом, для поощрения великих предприятий, о которых он упомянул в двух словах. Мазо слушал, не моргнув глазом, и самым любезным образом дал требуемые справки. Но он сразу понял, что Саккар не стал бы заходить за такими пустяками. Когда последний произнес, наконец, имя Дегрэмона, он не мог удержать улыбки. Конечно, у Дегрэмона колоссальное состояние; говорят, правда, что он не вполне надежный человек, но кто же надежен в делах и любви? Никто. Впрочем, ему, Мазо, не совсем ловко говорить правду о Дегрэмоне после их разрыва, занимавшего всю биржу. Последний пользовался теперь услугами Якоби, еврея из Бордо, разбитного малого шестидесяти лет, с широким веселым лицом, славившегося своим громовым голосом, но несколько отяжелевшего, отрастившего брюхо. Между двумя маклерами существовало как бы соперни-

чество; молодому везло счастье, старик всего добился временем; сначала он был простым поверенным; наконец, доверители позволили ему купить должность патрона. Это был замечательно ловкий и тонкий практик, загубленный несчастной страстью к игре, вечно накануне катастрофы, несмотря на значительные барыши. Все это пропадало в ликвидациих. Жермена Кер стоила ему всего несколько тысяч франков; жены его никто никогда не видел.

– Наконец, – говорил Мазо, поддаваясь злобе, несмотря на всю свою выдержку, – всем известно, что в Каракасском деле он сыграл положительно предательскую роль и прикарманил барыши... Он очень опасен.

Он помолчал и прибавил:

– Но почему бы вам не обратиться к Гундерманну?

– Никогда! – воскликнул Саккар со страстным порывом.

В эту минуту вошел Вертье и что-то шепнул маклеру.

Дело шло о баронессе Сандорф, которая явилась уплатить разницу, готовая поднять целую бурю, чтоб только уменьшить счет. Обыкновенно Мазо спешил ей навстречу, сам принимал ее, но, когда ей случалось терпеть убыток, бегал от нее, как от чумы, без сомнения, опасаясь слишком сильного натиска на свою любезность. Нет хуже клиентов, как женщины, когда им приходится платить.

– Нет, нет, скажите, что меня нет дома, – отвечал он с досадой. – И не уступайте ей ни сантиметра, слышите!

Когда Вертье ушел, он заметил по усмешке Саккара, что тот понял, в чем дело.

– Да, дорогой мой, она очень мила, но жадна... вы представить себе не можете, что это такое!.. Ах, как любили бы нас наши клиенты, если бы всегда получали барыши. И чем они богаче, чем знатнее, тем – Бог меня прости! – тем менее я им доверяю, тем более боюсь, что они не заплатят мне... Да, бывают дни, когда я желал бы иметь клиентами только провинциалов.

В эту минуту вошел конторщик, подал ему какое-то дело и ушел.

– Да вот вам, некий господин Фэйе, сборщик рент, из Вандома... Вы не можете себе представить, какую массу ордеров я получаю через него. Конечно, неважные ордера, от мелких буржуа, мелких торговцев, фермеров, зато какая масса... Право, наш лучший дом, наша основа – скромные игроки, анонимная толпа.

По какой-то ассоциации идей Саккар вспомнил Сабатани.

– Так Сабатани теперь ваш клиент? – спросил он.

– Около года, кажется, – отвечал банкир равнодушно. – Милый парень, не правда ли? Он начал очень скромно, очень благообразно, из него выйдет толк.

Он не говорил и даже не вспоминал о том, что Сабатани внес ему только две тысячи франков. Отсюда и скромная игра вначале. Без сомнения, как и многие другие, восточный человек ожидал, пока забудут о ничтожности этой гарантии, и доказывал свое благообразие, увеличивая размеры своих поручений лишь мало-помалу, ожидая дня, когда ему можно будет исчезнуть после крупной ликвидации. Как отнестись недоверчиво к такому любезному малому, который умел дружить со всеми? Как усомниться в его платежной способности? Всегда весел, с виду богат, элегантно внешне, необходимая, как мундир, для биржевых воров!..

– Да, да, очень мил, умен, – повторил Саккар, внезапно решившись воспользоваться услугами Сабатани, когда потребуется скромный и готовый на все молодец.

Затем он встал и откланялся.

– Пу, до свидания!.. Когда наши бумаги будут готовы, я увижусь с вами.

Мазо, на пороге кабинета, пожал ему руку, говоря:

– А напрасно вы не хотите навеститься к Гундерманну...

– Никогда! – снова воскликнул Саккар с бешенством.

Выходя, он заметил перед кассой Мозера и Пильро: первый с горестной миной получал свою двухнедельную прибыль, семь или восемь билетов по тысяче франков, второй уплачивал

проигрыш, тысяч двенадцать, с громкими прибаутками, с победоносным видом! Приближался час завтрака и открытия биржи; служащие понемногу уходили; из ликвидационной конторы доносились через полуоткрытую дверь взрывы смеха: Гюстав рассказывал Флори о прогулке в лодке, причем какая-то дама упала в воду и потеряла все платье, не исключая чулок.

На улице Саккар взглянул на часы. Одиннадцать; сколько времени пропало даром! Нет, он не пойдет к Дегрэмону, и хотя при одном имени Гундерманна им овладевало бешенство, он внезапно решил зайти к нему. Впрочем, ведь он предупредил его о своем посещении у Шампо, объявив о своей великой афере, чтобы дать отпор его насмешкам. В свое оправдание он старался уверить себя, что идет вовсе не за содействием, а, напротив, с целью поглумиться над ним, отнестись к нему, как к мальчишке. Снова хлынул дождь, и он вскочил в фиакр, велел кучеру ехать в улицу Прованс.

Гундермани занимал в ней огромный отель, как раз достаточный для его бесчисленной семьи. У него было пять дочерей и четверо сыновей, из них три дочери и три сына женатых родили ему уже четырнадцать внучат. Когда семья сходилась за столом, их оказывалось тридцать один человек. И, за исключением двух зятьев, все остальные жили в том же доме, в правом и левом флигеле, выходящим в сад, тогда как центральное здание было сплошь занято банкирской конторой с ее отделениями. Менее чем в столетие чудовищное состояние в миллиард создалось и выросло в этой семье вследствие бережливости и счастливого стечения обстоятельств. Тут было как бы предопределение, в связи с живым пониманием дел, неутомимым трудом, благоразумием, непреодолимым и вечно направленным к одной цели упорством. Теперь реки золота со всего света стекались в это море миллионов и терялись в нем, общественные богатства пропадали в пропасти частного все возрастающего состояния; и Гундерманн был истинным владыкой, всемогущим повелителем Парижа и мира!

Поднимаясь по каменной лестнице с истертыми ступенями, более стертыми, чем в церквях, Саккар чувствовал, как разгорается его неутолимая ненависть к этому человеку. Да, еврей! Он питал к евреям закоренелую роковую вражду, которая с особенной силой проявляется на юге Франции. Это была чисто органическая ненависть, чувство физического отвращения, непобедимое, независимое от каких бы то ни было рассуждений. Страннее всего, что этот самый Саккар, аферист, готовый на всякую плутню, совершенно забывал о себе, как только речь заходила о евреях; говорил о них с мстительным негодованием честного человека, живущего трудами рук своих, неповинного ни в каком барышничестве. Он разражался целым обвинительным актом против этой расы, проклятой расы без отечества, без правителей, живущей паразитом насчет других наций, делая вид, что подчиняется их законам, но подчиняясь, в самом деле, только своему богу воровства, крови и ненависти. Он говорил, что она всюду исполняет свою миссию жестокого завоевания, всюду заводится, как паук в паутине, подстерегая добычу, высасывая кровь, жирея насчет чужих жизней. Видел ли кто-нибудь еврея за работой? Есть ли еврей-земледельцы, еврей-рабочие? Нет, их религия запрещает труд, проповедует только эксплуатацию чужого труда. Ах, негодяи! Злоба Саккара росла тем больше, чем сильнее он удивлялся и завидовал их удивительным финансовым способностям, прирожденному знанию цифр, умению справляться с самыми сложными операциями, чутью и ловкости, обеспечивающим им победу во всем, за что они берутся. Христиане, говорил он, неспособны к этой воровской игре и всегда кончают разорением, но возьмите еврея, который даже не думает вести конторские книги, бросьте его в омут самой подозрительной спекуляции – и он вынырнет с полными карманами. Это уже свойство расы, ее дар, благодаря которому она может существовать среди возникающих и исчезающих наций. Он предсказывал, что, в конце концов, они завоюют весь мир, когда богатства всего земного шара сосредоточатся в их руках, что это совершится очень скоро, если не положить предела их распространению, потому что и теперь уже можно видеть в Париже Гундерманна, престол которого, без сомнения, прочнее престола самого императора французов.

При входе в прихожую Саккар невольно остановился, увидев толпу биржевых агентов, просителей, мужчин, женщин, переполнявших обширную комнату. Особенно суетились агенты, каждый хотел попасть первым, в надежде получить ордер, – надежде, более чем сомнительной, потому что великий банкир имел своих собственных агентов. Но и быть принятым у него считалось великою честью, рекомендацией; и каждый добивался этой чести, чтобы при случае похвастаться ею. Ожидать приходилось не долго: двое служащих выстраивали посетителей в шеренгу, настоящее шествие, тянувшееся из двери в дверь. Так что, несмотря на толпу, Саккар был впущен почти немедленно.

Кабинет Гундерманна была огромная комната, в которой он занимал только небольшой уголок у крайнего окна. Сидя за столом из черного дерева, он держался спиной к свету, так что лицо его оставалось в тени. Поднявшись в пять часов, он принимался за работу, когда Париж еще спал, и в девяти часам, когда толпа алчущих дефилировала перед ним, его рабочий день уже приходил к концу. Двое из его сыновей и один из зятьев помогали ему, изредка присаживаясь за двумя письменными столами, стоявшими посреди комнаты, но большею частью на ногах среди целой толпы служащих. Но это была внутренняя домашняя служба. Толпа стремилась туда, в уголок, где сидел он, бесстрастный, холодный, принимая посетителей и отвечая на их запросы, часто только знаком, иногда словом, если желал выказать особенную любезность.

Когда Гундерманн увидел Саккара, на лице его мелькнула слабая лукавая улыбка.

– А, это вы, добрый друг мой!.. Присядьте же на минутку; поговорим. Сию минуту я к вашим услугам.

Затем он точно забыл о нем. Впрочем, Саккар не чувствовал особенного нетерпения, заинтересованный шеренгой биржевых агентов, которые теснились друг за другом, с тем же низким поклоном, вытаскивая из своих безукоризненных сюртуков одинаковые записные книжки, представляя банкиру одну и ту же курсовую записку, одним и тем же почтительным и умоляющим жестом. Прошло десять, двадцать: банкир брал у каждого записку, заглядывал в нее и возвращал с изумительным терпением, равным только его равнодушию под этим градом предложений.

Но вот появился Массиас с веселым и беспокойным, как у побитой собаки, видом. Его принимали иной раз так скверно, что он чуть не плакал. На этот раз чаша его терпения, по видимому, переполнилась, потому что он высказал неожиданную настойчивость.

– Акции Credit Mobiler стоят очень низко, сударь... Сколько прикажете вам купить?

Гундерманн, не принимая от него записку, поднял свои тусклые глаза на назойливого молодого человека.

– Послушайте, друг мой, – сказал он грубо, – неужели вы думаете, что мне приятно принимать вас?

– Боже мой, сударь, – возразил Массиас, бледнея, – мне еще неприятнее являться каждое утро в течение трех месяцев без всякого результата.

– В таком случае не являйтесь.

Агент поклонился и ушел, бросив на Саккара взгляд полный бешенства и отчаяния, в котором сказывалось внезапное сознание, что ему не суждено сделать карьеру.

Саккар спрашивал себя, зачем Гундерманн принимает весь этот люд. Очевидно, у него была замечательная способность погружаться в себя, уединяться и продолжать нить своих мыслей в этой толпе; притом же этот прием служил для него как бы обзором рынка, на котором он всегда находил прибыль, хотя бы самую ничтожную. Он очень резко вытребовал восемьдесят франков у одного агента, которому дал поручение накануне; впрочем, последний все-таки обкрадывал его. Потом явился продавец редкостей с ящичком эмалированного золота, прошлого столетия, частью подправленным позднее; банкир тотчас разобрал подделку. Далее, две дамы, старуха с совиным носом и молодая, брюнетка, очень хорошенькая, с предложением, посмотреть комод в стиле Людовика XV, от которого он начисто отказался. Наконец, ювелир с

рубинами, два изобретателя, англичане, немцы, итальянцы, все языки, все полы. В то же время продолжали являться агенты, вперемежку с другими посетителями, с теми же жестами, также механически предлагая курсовую записку; между тем, как толпа служащих все прибывала по мере приближения часа открытия биржи, принося депеши, требуя подписи.

Наконец, в довершение всей этой суматохи, в комнату ворвался мальчуган лет пяти-шести, верхом на палочке, с трубой, в которую он дудел изо всех сил, а за ним две девочки, одна трех, другая – восьми лет; они осадили кресло деда, повисли у него на шее, тогда как он целовал их с чисто еврейскою страстью к семье, к многочисленному потомству, в котором они видят свою силу.

Вдруг он как бы вспомнил о Саккаре.

– Ах, друг мой, извините, вы видите, у меня нет минуты свободной... Объясните мне ваше дело.

Он начал было слушать, когда какой-то служащий ввел в комнату высокого белокурого господина и сказал что-то на ухо банкиру. Последний тотчас встал, впрочем, не торопясь и, отойдя к окну с новым посетителем, стал о чем-то говорить с ним, тогда как один из сыновей принимал вместо него агентов.

Несмотря на глухое раздражение, Саккар не мог не чувствовать почтения. Он узнал в новом посетителе представителя одной из великих держав, и этот господин, державшийся в Тюльери очень спесиво, здесь стоял, слегка наклонив голову, улыбаясь точно проситель. Иногда появлялись здесь важные лица администрации, даже министры, которых банкир принимал также стоя, в этой комнате, публичной как площадь, оглашаемой криками детей.

Здесь проявлялась всемирная власть этого человека, у которого были свои послы при всех дворах мира, консулы во всех провинциях, агентства во всех городах и корабли на всех морях. Он не был спекулянт, в роде Саккара, авантюристом, который ворочает чужими миллионами, мечтает о битвах и победах, о громадной добыче насчет заемных денег; он был, по его собственному выражению, простой торговец деньгами, самый рьяный и искусный, какого только можно себе представить. Но, чтобы обеспечить свое могущество, ему нужно было властвовать над биржей; и таким образом при каждой ликвидации происходила новая битва, в которой победа оставалась неизменно на его стороне. С минуту Саккар чувствовал себя подавленным при мысли, что все деньги, которыми он ворочал, принадлежат ему, что в его подвалах хранится неисчерпаемый запас товара, которым он торговал, как опытный и благо-разумный коммерсант, желающий все понимать, видеть и делать сам. Миллиард в таких руках непреодолимая сила.

– Тут нам не дадут покоя, друг мой, – сказал Гундерманн, вернувшись к Саккару. – Пойдите, я сейчас буду завтракать, пойдемте в столовую, там, может быть, нам не будут надо-еждать.

Они перешли в маленькую столовую, где никогда не собиралась вся семья. На этот раз их было за столом только восемнадцать человек, в том числе восемь детей. Банкир сел в середине, перед ним ставили только стакан молока.

С минуту он сидел, закрыв глаза, страшно истомленный, с бледным, измученным лицом, искаженным болью, так как он страдал печенью и почками; потом дрожащей рукой поднес стакан к губам, отхлебнул глоток и вздохнул.

– Ах, я совершенно изнемог сегодня!

– Почему же вы не отдохнете? – спросил Саккар.

Гундерманн с удивлением взглянул на него и наивно отвечал:

– Да ведь это невозможно.

В самом деле, ему не дали даже спокойно выпить молоко; шеренга агентов потянулась в столовую, тогда как члены семьи, привыкшие к этой суматохе, смеялись и ели, как ни в чем не бывало холодное мясо и пирожки, а дети, развеселившись от вина, подняли ужасный гвалт.

Саккар глядел на него и удивлялся, видя, с каким усилием глотает он свое молоко, медленно, точно давясь. Он питался только молоком, не мог есть ни мяса, ни мучной пищи. Но, если так, на что ему миллиард? Женщины тоже никогда не соблазняли его; в течение сорока лет он был верен своей жене, а теперь должен был быть верен поневоле. Для чего лее вставать в пять часов, надрываться над этой ужасной работой, обременять память цифрами, голову чудовищной массой дел? Зачем копить золото, когда не можешь купить фунта вишен на улице, развлекаться с женщинами, наслаждаться всем, что можно купить, ленью, свободой? И Саккар, который при всей своей ненасытности понимал бескорыстную любовь к деньгам ради могущества, которое они дают, почувствовал что-то вроде священного ужаса, глядя на эту фигуру. Это уж не классический скупец, копящий деньги, но безупречный работник, отрекшийся от всех благ мира, сделавшийся почти бесплотным в своей страдальческой старости, упорно продолжая воздвигать здание миллионов с единственной целью завещать его потомкам, которые станут надстраивать его до тех пор, пока оно не будет господствовать над землею.

Наконец, Гундерманн стал слушать его проект Всемирного Банка. Впрочем, Саккар не пускался в подробности и ограничился только намеком на проекты Гамлэна, чувствуя с первых слов, что банкир намерен выведать от него суть дела, а затем выпроводить его ни с чем.

– Еще банк, друг мой, еще банк! – повторил он со своей лукавой усмешкой. – Нет, если бы я дал деньги, так скорее на устройство машины, да какой-нибудь гильотины, которая бы могла обрубить головы всем этим вновь заводящимся банкирам... А, что вы скажете? Какие-нибудь грабли, чтобы очистить биржу... У вашего инженера нет такого проекта?

Потом, приняв вид отеческой нежности, он продолжал с холодной жестокостью:

– Будем рассуждать серьезно: вы помните, что я вам сказал... Вам не следует возвращаться к делам, я оказываю вам истинную услугу, отказывая в содействии вашему синдикату... Вы разоритесь, это неизбежно, это математика: вы слишком страстны, слишком увлекаетесь воображением; притом, когда ведешь дело на чужие деньги, наверное, кончишь плохо... Почему бы вашему брату не найти для вас хорошего места, а? Префекта, сборщика податей... Нет, сборщика, пожалуй, опасно... Бойтесь самого себя, друг мой, бойтесь...

Саккар встал, дрожа от гнева.

– Так вы решительно не хотите взять акций, действовать заодно с нами?

– С вами, никогда!.. Не пройдет трех лет, и вас проглотят.

Последовало грозное молчание, обмен вызывающих взглядов.

– В таком случае, до свидания... Я еще не завтракал и очень голоден. Увидим, кто кого проглотит.

С этими словами он ушел, а банкир, окруженный семьей, шумно оканчивавшей завтрак, продолжал принимать последних запоздавших маклеров, по временам закрывая глаза от усталости, прихлебывая маленькими глотками молоко, окрашивавшее его губы в белый цвет.

Саккар вскочил в фиакр, велел кучеру ехать в улицу Сен-Лазар.

Было уже около часа, день пропал даром; он возвращался домой завтракать, вне себя от бешенства. Ах, подлый жид, вот бы кого он охотно перегрыз зубами, как собака кость! Конечно, это чудовищный кусок, недолго и подавиться! Но, почем знать, величайшие империи падали, для самых могущественных наступает час гибели. Нет, не съесть, а сначала только надкусить, вырвать клочок его миллиарда, а потом и съесть, да! Почему нет? Уничтожить этих жидов, которые считают себя владыками мира в лице своего короля. Эти размышления, этот гнев против Гундерманна возбудили в Саккаре страшную жажду деятельности, немедленного успеха: ему хотелось бы одним мановением руки воздвигнуть свой банк; пустить его в ход, побеждать, подрывать соперников. Внезапно он вспомнил о Дегрэмоне и, не рассуждая, подчиняясь непреодолимому влечению, велел кучеру ехать в улицу Ларошфуко. Чтобы застать Дегрэмона, надо было торопиться, отложить завтрак, потому что он уходил из дома в час. Конечно, этот христианин стоил двух жидов; о нем говорили, как о каком-то огне, пожирившем все доверенные

ему предприятия. Но в эту минуту Саккар готов был вступить в компанию с Картушем, лишь бы одолеть, даже с условием делить барыши. Дальше видно будет; он возьмет верх.

Наконец фиакр, медленно поднимавшийся по крутой улице, остановился перед высокими, монументальными воротами огромного отеля. Масса построек в глубине обширного мощеного двора имела вид дворца; сад со столетними деревьями казался настоящим парком, отделенным от шумных улиц. Весь Париж знал этот отель с его великолепными праздниками; в особенности удивительную картинную галерею, которую обязательно посещали все знатные путешественники. Владелец отеля, женатый на известной красавице, пользовавшейся также славой замечательной певицы, жил по-княжески, гордился своими скаковыми лошадьми не меньше, чем галереей, был членом одного из больших клубов, тратил огромные суммы на женщин, имел ложу в опере, кресло в отеле Друо, скамеечку в модных вертепах. И вся эта широкая жизнь, эта роскошь, этот апофеоз прихоти и искусства поддерживались спекуляцией, вечно движущимся состоянием, которое казалось бесконечным, как море, но имело свой прилив и отлив разницы в двести-триста тысяч франков при каждой двухнедельной ликвидации.

Саккар поднялся по великолепной лестнице; лакей доложил о его приходе и провел его, минуя три комнаты, наполненные чудесами, искусства, в маленькую курильню, где Дегрэмон докуривал сигару перед уходом. Это был высокий, элегантный господин, сорока пяти лет, но еще только начинавший жиреть, тщательно причесанный, с усами и эспаньолкой, как подобает фанатическому поклоннику Тюльери. Он был очень любезен, имел вид человека уверенного, что перед ним никто не может устоять. Он бросился навстречу Саккару.

– Ах, милейший, что это вас не видно? Я вспоминал о вас... Да ведь мы соседи, кажется?

Впрочем, он успокоился и отказался от излишних, которые приберегал для толпы, когда Саккар, считая всякие предисловия бесполезными, немедленно приступил к делу, рассказал о своей великой афере, объяснил, что прежде открытия Всемирного банка, с капиталом в двадцать пять миллионов, он хочет организовать синдикат, товарищество банкиров, промышленников, которые должны разобрать четыре пятых акций, т. е. сорок тысяч, чтобы заранее обеспечить их успех. Дегрэмон сделался очень серьезен, слушал, посматривал на него пытливо, как будто хотел проникнуть в тайники его мозга, выведать, какую пользу можно извлечь из этого человека, удивительная энергия и блистательные качества которого были ему известны. Сначала он не решался.

– Нет, нет, я завален делами... я не могу предпринимать новых.

Однако, он соблазнился и стал расспрашивать о предприятиях, которые должны быть исполнены на средства нового банка и о которых Саккар говорил с благоразумною осторожностью. Мысль о соединении всех перевозочных компаний Средиземного моря в один синдикат под именем «Компании соединенных пакетботов» поразила его, и он сразу сдался.

– Хорошо, я согласен! Только под одним условием... Какие у вас отношения с вашим братом, министром?

Саккар, удивленный этим вопросом, откровенно выразил свою досаду.

– С братом... О! Он сам по себе. Мой братец не отличается нежными чувствами.

– Тем хуже! – отрезал Дегрэмон. – Я с вами, если он за вас... Вы понимаете, я не хочу вас обидеть.

Саккар с гневом протестовал. На что им Бутон? Он только свяжет их по рукам и по ногам. Но в то же время тайный голос подсказывал ему, что следовало бы обеспечить, по крайней мере, нейтралитет великого человека. Однако он грубо отказывался.

– Нет, нет, он всегда поступал со мной по-свински. Я ни за что не сделаю первого шага.

– Послушайте, – сказал Дегрэмон, – я ожидаю Гюрз к пяти часам, у меня есть до него дело... Отправляйтесь в законодательный корпус, расскажите о вашем проекте Гюрэ, он передаст о нем Ругону, узнает его мнение и сообщит нам в 5 часов... Хотите, в пять часов у меня!

Саккар, опустив голову, обдумывал его предложение.

– Бог мой, если вы уж непременно хотите.

– О, непременно! Без Ругона – ничего; с Ругоном – все, что вам угодно.

– Хорошо, я отправлюсь.

Они пожали друг другу руки, и Саккар хотел уже уйти, когда Дегрэмон остановил его.

– Да, если вы увидите, что дела идут на лад, зайдите к маркизу Богэн и Седиллю, скажите им, что я участвую в деле, и предложите присоединиться к нам. Мне бы хотелось, чтобы они тоже приняли участие.

У ворот Саккара ожидал фиакр, который он оставил за собой, хотя ему нужно было только спуститься на другой конец улицы, чтобы попасть к себе. Он отпустил его, рассчитывая после завтрака отправиться в своем экипаже, и пошел домой. Его не ждали; кухарка сама подала ему кусок холодного мяса, который он проглотил наскоро, ругаясь с кучером, заявившим, что, по словам ветеринара, лошадь нельзя было запрягать три-четыре дня. Он бранил кучера за небрежность, грозил ему Каролиной, которая приведет их в порядок. Наконец, велел ему, по крайней мере, отыскать фиакр.

На улице снова хлынул целый потоп, и Саккару более четверти часа пришлось дожидаться кареты. Он вскочил в нее под проливным дождем, крикнув кучеру:

– В законодательный корпус!

Ему хотелось приехать до начала заседания, чтобы застать Гюрз свободным и потолковать с ним на досуге. К несчастью, в этот день ожидалась бурная дискуссия, один из членов левой намеревался возбудить вечный вопрос о Мексике; Ругон, без сомнения, должен был отвечать.

В зале без Pas-Perdus Саккар наткнулся на депутата. Он увлек его в соседнюю комнату, где они могли поговорить наедине, благодаря суматохе, царствовавшей в коридорах. Оппозиция все более и более усиливалась; начинало пахнуть катастрофой, которая должна была все сокрушить. Гюрз был до такой степени занят, что не сразу понял, в чем дело; пришлось объяснять ему два раза, что от него требуется.

Разобрав, наконец, в чем дело, он окончательно ошалел.

– Что вы, друг мой! Говорить с Ругоном теперь! Да он наверно пошлет меня к черту.

Он не скрывал своего беспокойства. Если он значил что-нибудь, то только благодаря великому человеку, которому был обязан своей официальной кандидатурой, избранием и положением лакея, питающегося крохами от господского стола. На этой службе он помаленьку округлял свои обширные имения в Кальвадосе, намереваясь удалиться туда после развязки. Его широкое хитрое мужицкое лицо омрачилось; он видимо затруднялся этим поручением, не зная, извлечет ли из него пользу или вред.

– Нет, нет, не могу... Я передал вам волю вашего брата и не решаюсь беспокоить его вторично. Черт возьми, подумайте же о моем положении! Он не церемонится, когда ему надоедают; и ей Богу я не хочу погубить себя ради вас.

Саккар, поняв, в чем дело, стал толковать ему о миллионных барышах, которые даст Всемирный банк. Он набросал проект будущих предприятий в широких чертах своим пламенным языком, превращавшим всякую денежную аферу в поэму; доказывал, что успех несомненен, колоссален. Дегрэмон с радостью согласился стать во главе синдиката. Богэн и Сдильль уже спрашивали, можно ли им присоединиться. Гюрэ во что бы то ни стало должен войти, в компанию: эти господа требовали его присоединения, вследствие его высокого политического положения. Надеялись даже, что он будет членом распорядительного совета, так как его имя служило бы символом порядка и честности.

При этом обещании депутат пристально посмотрел на Саккара.

– Но чего же вы хотите от меня, какой ответ должен я получить от Ругона?

– Боже мой, – отвечал Саккар, – лично мне было бы приятнее обойтись без поддержки моего брата. Но Дегрэмон требует, чтоб я помирился с ним. Может быть, он прав... И так, вы

должны просто сообщить этому ужасному человеку о нашем деле и добиться, чтобы он был если не за нас, то, по крайней мере, не против нас.

Гюрэ, слушавший с полузакрытыми глазами, все еще не решался.

– Добейтесь любезного ответа, и только: Дегрэмон удовольствуется этим, и сегодня вечером мы обсудим это дело втроем.

– Ладно, я попробую, – неожиданно объявил депутат, напуская на себя вид мужицкой простоты, – но только ради вас, потому что с ним нелегко иметь дело, когда левая начинает бушевать... В пять часов!..

– В пять часов!..

Саккар оставался в палате еще около часа, очень обеспокоенный разговорами о предстоящей борьбе. Он слышал, как один из великих ораторов левой заявил о своем намерении говорить. При этом известии он хотел было отыскать Гюрэ и спросить у него, не лучше ли отложить на завтра объяснение с Ругоном. Но, фаталист по натуре, привыкший верить в удачу, он побоялся загубить все дело отсрочкой. Может быть, впопыхах Ругон скорее даст согласие. И, чтобы отрезать себе отступление, он ушел из палаты и уселся в фиакре. Когда он был уже на мосту Согласия, Саккар внезапно вспомнил о желании Дегрэмона.

– Извозчик, в улицу Вавилон!

В этой улице жил маркиз Богэн. Он занимал старый флигель большого отеля, где прежде помещались конюхи, теперь его переделали и превратили в очень удобный современный дом. Роскошное помещение имело кокетливый аристократический вид. Жена маркиза никогда не показывалась гостям, удерживаемая в своих комнатах болезнью. А между тем, дом и мебель принадлежали ей; он был простым жильцом, не имевшим права касаться ее имущества с тех пор, как стал играть на бирже; все его добро состояло из векселей. Уже в двух катастрофах он наотрез отказался платить, так что синдик, удостоверившись в положении дел, даже не считал нужным посылать ему бумаги. Его просто вычеркивали. Пока были барыши, он клал их в карман, когда начинались убытки – отказывался платить: это знали и этому подчинялись. У него было громкое имя; в административных советах он служил не малым украшением. Новые компании, искавшие эффектной вывески, наперерыв добивались его участия; он никогда не сидел без дела. На бирже у него был свой стул со стороны улицы Notre Dame-des-Victoires, где заседали богатые спекулянты, делавшие вид, что не интересуются новостями дня. К нему относились с почтением, спрашивали его совета. Словом, это была важная персона.

Саккар знал его очень хорошо, и, тем не менее, на него произвел впечатление высокомерно-вежливый прием и величавая осанка этого красивого шестидесятилетнего старика, с маленькой головкой на туловище колосса, с бледным лицом в темном парике.

– Г. маркиз, я являюсь к вам, как настоящий проситель.

Он изложил причину своего посещения, не входя в подробности.

Впрочем, маркиз перебил его на первых же словах.

– Нет, нет, у меня решительно нет времени; я завален предложениями, которые приходится отклонить.

Но когда Саккар прибавил с улыбкой: «Я к вам от Дегрэмона: он вспомнил о вас...», маркиз воскликнул:

– А, так Дегрэмон заодно с вами... Отлично, отлично, если так, то и я присоединюсь. Можете рассчитывать на меня.

И когда гость стал было рассказывать ему о предприятии, в котором он должен был участвовать, он остановил его с снисходительным видом грансеньера, который не хочет ничего знать о подробностях, так как по натуре склонен верить в честность людей.

– Пожалуйста, ни слова более... Я не хочу ничего знать. Вам нужно мое имя, я даю его с величайшим удовольствием, вот и все... Скажите Дегрэмону, что он может устроить это, как ему угодно.

Усевшись в фиакр, Саккар усмехнулся про себя.

«Он обойдется нам дорого, – подумал он, – но он положительно великолепен».

Потом, возвысив голос, крикнул:

– В улицу des Jeuneurs.

В этой улице находились магазины и конторы торгового дома Седилль, занимавшие в глубине двора целый этаж. После двадцатипятилетней работы Седилль, уроженец Лиона, имевший в этом городе мастерские, добился, наконец, того, что его шелковая торговля оптом заняла одно из первых мест в Париже, когда случайно в нем пробудилась страсть к биржевой игре и овладела им с опустошительной силой пожара. Два крупных выигрыша совершенно одурманили его. Стоит ли работать двадцать пять лет, чтобы нажить какой-нибудь несчастный миллион, когда простая операция на бирже может доставить его в час? Мало-помалу он утратил всякий интерес к своей торговле, которая шла в силу инерции: он жил только надеждой на счастливую аферу, и все его доходы поглощались биржевой игрой. Хуже всего то, что в этой горячке перестают ценить законную прибыль, даже теряют под конец ясное представление о деньгах. Очевидно, разорение было неизбежно, раз лионские мастерские приносили двести тысяч франков дохода, а игра поглощала триста тысяч.

Саккар застал Седилля в волнении и беспокойстве, он не обладал флегмой и философией истинного игрока. Он вечно мучился угрызениями совести, то надеялся, то падал духом, терзался неизвестностью, все потому, что, в сущности, оставался честным. Ликвидация в конце апреля нанесла ему страшный удар. Однако, его полное лицо, с огромными рыжими усами, просияло с первых же слов Саккара.

– Ах, дорогой мой, если вы приносите мне счастье, – добро пожаловать!

Но затем он испугался.

– Нет, нет, не соблазняйте меня. Лучше мне сидеть со своим шелком и не выходить из конторы.

Чтобы дать ему время успокоиться, Саккар заговорил о его сыне, Гюставе, которого видел утром у Мазо. Но для негоцианта это был также предмет огорчения, он хотел передать сыну свою фирму, а тот презирал торговлю, думал только о развеселом житье, как настоящий сын выскочки, годный лишь для того, чтобы пускаться на ветер готовое состояние. Отец поместил его к Мазо, чтобы испытать его финансовые способности.

– Со времени смерти моей бедной жены он доставлял мне мало утешения. Ну, да, может быть, он и научится чему-нибудь полезному у маклера.

– Что же, – грубо спросил Саккар, – хотите присоединиться к нам? Дегрэммон поручил мне сказать вам, что он участвует в деле.

Седилль поднял к небу свои дрожащие руки. Потом произнес изменившимся от страха и желания голосом:

– Ну, да, я с вами! Вы знаете, что я не могу поступить иначе. Если я откажусь, а ваши дела пойдут хорошо, меня замучит совесть... Скажите Дегрэммону, что я согласен.

На улице Саккар взглянул на часы и убедился, что уже четыре. Не зная, куда девать время и испытывая потребность двигаться, он отпустил фиакр, но почти тотчас раскаялся в этом, так как снова хлынул ливень пополам с градом и заставил его искать убежища в воротах. Какая гнусная погода, особенно когда приходится таскаться по Парижу. Полюбовавшись с четверть часа потоками дождя, он потерял терпение и кликнул проезжавший мимо экипаж. Это была открытая коляска, и как он ни закрывался кожаными фартуком, но приехал в улицу Ларошфуко, промокнув насквозь, и притом за полчаса до назначенного времени.

В курильне, куща лакей ввел его, сказав, что барин еще не вернулся, Саккар прохаживался маленькими шагами, рассматривая картины. Но великолепный женский голос, могучий, глубокий и меланхолический контральто, раздавшийся в тишине отеля, заставил его подойти к окну: это пела г-жа Дегрэммон, повторяя за роялем арию, которую, без сомнения, должна была

петь вечером в каком-нибудь салоне. Убаюкиваемый этой музыкой, он вспомнил о странных историях, ходивших насчет Дегрэмона, в особенности о Гадомантинском займе в пятьдесят миллионов, которым он овладел полностью, про давая и перепродавая его пять раз подряд посредством своих маклеров; затем последовала настоящая продажа, неизбежное падение с трехсот франков на пятнадцать, огромные барыши насчет разорения массы наивных людей. Да, это дока, зубастый господин! Голос хозяйки разливался нежной жалобой» безумной скорбью, а Саккар, отойдя от окна, остановился перед Мейссонье, тысяч во сто франков по его расчету.

Кто-то вошел в комнату и Саккар с удивлением узнал Гюрэ.

– Как, это вы? Еще нет пяти часов... Разве заседание кончилось?..

– Да, да, кончилось... Ссорятся.

Он объяснил, что, так как депутат оппозиции говорил все время, то Ругон, конечно, должен был отложить свой ответ до завтра. Убедившись в этом, он рискнул обратиться к министру во время короткого перерыва заседания.

– Ну, – спросил Саккар нервно, – что же сказал мой блистательный брат?

Гюрэ не сразу ответил.

– О, он был зол, как собака... Признаюсь, я рассчитывал на его возбуждение, думая, что он просто скажет, чтобы я убирался... Итак, я сообщил ему о вашем деле, прибавив, что вы ничего не хотите предпринимать без его одобрения.

– Ну?

– Ну, – он схватил меня за плечи, встряхнул, крикнул мне в лицо: «провались он сквозь землю!» и с тем оставил меня.

Саккар побледнел, судорожно засмеялся:

– Любезно!

– Черт побери, да, это любезно! – повторил депутат убежденным тоном. – Я не ожидал этого...

Заслышав в соседней комнате шаги Дегрэмона, он прибавил вполголоса: – Предоставьте мне уладить дело.

Очевидно, Гюрэ смертельно хотелось устроить Всемирный банк и принять в нем участие. Без сомнения, он уже уяснил себе роль, которую будет играть в нем. Не успев поздороваться с Дегрэмоном, он воскликнул с сияющей физиономией, с победоносным жестом:

– Победа, победа!

– А, в самом деле. Расскажите же, как было дело.

– Боже мой, великий человек поступил так, как и должен был поступить. Он отвечал мне: «Желаю успеха брату».

Дегрэмон разом просиял. «Желаю успеха» – это прелестно, этим все сказано: если он наделает глупостей, я его брошу; если успеет – помогу. Право, это превосходно.

– Мы успеем, любезный Саккар, будьте покойны... Мы сделаем все для этого.

Потом, когда они уселись, желая обсудить главные пункты, Дегрэмон встал и закрыл окно, так как голос жены, звучавший все громче и громче, разливался бесконечным отчаянием, мешая им говорить. Даже когда окно было закрыто, эта глухая жалоба преследовала их, пока они обсуждали устройство кредитного дома, Всемирного банка, с капиталом в двадцать пять миллионов, разделенном на пятьдесят тысяч акций, по пяти тысяч франков каждая. Они решили также, что Дегрэмон, Гюрэ, Седилль, маркиз де-Богэн и некоторые из их друзей составят синдикат и разберут четыре пятых выпуска, то есть сорок тысяч акций; таким образом успех будет обеспечен заранее, и позднее, придерживая бумаги, не пуская их на рынок, они будут создавать повышение по произволу. Однако все дело едва не лопнуло, когда Дегрэмон потребовал премии в четыреста тысяч франков на разобранные четыре пятых акций, то есть по десяти франков на акцию. Саккар возмутился, объявил, что это неблагоприятно, что сначала нужно убить медведя, а потом уже делить шкуру. И без того вначале будет много затруднений,

зачем лее еще более затруднять себя на первых шагах? Однако он должен был уступить, когда Гюрэ спокойно объявил, что это очень естественно, что так всегда делается.

Они разошлись, условившись насчет свидания на следующий день, свидания, в котором должен был принять участие и Гамлэн. Прощаясь, Дегрэмон неожиданно ударил себя по лбу.

– Я и забыл про Кольба! О, он никогда не простит мне, если его не пригласят... Голубчик, Саккар, будьте любезны, съездите к нему. Еще нет шести: вы наверно застанете его... Да, да, съездите сами, и непременно сегодня, это ему польстит, а он может быть нам полезен.

Саккар повиновался, зная, что счастливые дни не повторяются. По он опять отпустил фиакр, рассчитывая, что от Дегрэмона до его дома два шага; и так как дождь перестал, то он пошел пешком; ему было приятно чувствовать под ногами мостовую Парижа, который он, наконец, завоеует. В улице Монмартр снова начал накрапывать дождь и заставил его идти пассажирами. Он прошел пассаж Вердо, пассаж Жуффруа; наконец, в пассаже Панорам, проходя по боковой галерее, чтобы выйти кратчайшим путем на улицу Вивьенн, он встретил Гюстава Седилля: молодой человек вышел из темной аллеи и скрылся, не заметив Саккара. Последний остановился, глядя на дом, скромный меблированный отель, как вдруг увидел г-жу Конен, прекрасную лавочницу, выходящую вслед за Седиллем. Так вот где она назначала свидание своим возлюбленным. Этот таинственный уголок в самом центре квартала был выбран недурно; только случай мог выдать тайну. Саккар подсмеивался; ему было завидно: Жермена Кер утром, г-жа Конен вечером; молодой человек ел за двоих. Он взглянул на дверь, стараясь запомнить место; ему самому хотелось попасть туда.

На улице Вивьенн, у подъезда Кольба Саккар вздрогнул и еще раз остановился. Легкая, хрустальная музыка, доносившаяся из-под земли, подобно голосам сказочных фей, поразила его слух; он узнал музыку золота, вечный звон этого квартала дел и спекуляции, слышанный им уже утром. Конец дня, таким образом, соединился с началом. Он просиял, услышав этот звук, как будто им подтверждалось доброе предзнаменование.

В это время Кольб находился внизу в плавильне и Саккар в качестве друга дома спустился к нему. В пустом подвале, всегда освещенном газом, двое рабочих выбрасывали лопатами монеты из цинковых ящиков в большой горн: на этот раз монеты были испанские. Жара стояла невыносимая; звон металла, раздававшийся под низкими сводами, заглушал слова. Целая мостовая из золотых слитков, блестящих после переплавки, красовалась на столе химика-пробирера, определявшего их достоинство. Более шести миллионов были, таким образом, перелиты с утра, а вся прибыль на них не могла составлять более трех-четырёх сот франков, так как разница между курсами вообще ничтожна, измеряется тысячными долями и может дать барыш только при значительных количествах перелитого металла. Отсюда этот звон, этот поток золота с утра до вечера в течение целого года, в глубине этого подвала, куда золото стекалось в виде монеты, чтобы выйти в виде слитков, которые вернутся в виде монеты, снова превратятся в слитки и так далее до бесконечности, с единственной целью оставить в руках банкира несколько крупиц драгоценного металла.

Как только Кольб, маленький, смуглый, бородатый человечек с орлиным носом, обличавшим его еврейское происхождение, понял предложение Саккара, слова которого заглушались звоном золота, то сейчас же согласился.

– Отлично! – воскликнул он. – С величайшим удовольствием присоединюсь, если Дегрэмон с вами. Спасибо, что вспомнили обо мне.

Однако они с трудом понимали друг друга и, наконец, замолчали, оглушаемые этим резким звоном, утомительным, как флейта, если на ней тянуть без конца одну и ту же ноту.

Очутившись на улице, Саккар, несмотря на то, что дождь прошел и наступил ясный майский вечер, нанял фиакр, так как чувствовал себя совершенно разбитым. Трудовой денек – зато много и сделано!

## IV

Возникли затруднения, дело затянулось: прошло пять месяцев, а ничего прочного еще не было устроено. Сентябрь уже был на исходе и Саккар выходил из себя при мысли, что, несмотря на все его рвение, возникали без конца препятствия, целый ряд побочных вопросов, которые нужно было разъяснить, чтобы устроить что-нибудь прочное и серьезное. Нетерпение его было так велико, что одно время он думал отправить к черту синдикат. Ему пришло в голову устроить все дело с помощью княгини Орвиедо. У нее были миллионы, необходимые для начала дела, почему бы ей не затратить их на эту великолепную операцию? Он, безусловно, верил в успех дела, он был убежден, что ее состояние – состояние бедных – удесятится и, следовательно, ей можно будет раздавать еще более щедрую милостыню.

И так, однажды утром, Саккар явился к княгине и, как друг и делец, объяснил ей смысл и механизм предполагаемого банка. Он рассказал обо всем, изложил все проекты Гамлэна, не упустив ни одного предприятия. Мало того, поддаваясь своей способности опьяняться собственным успехом, он не скрыл и безумную мечту о перенесении папского престола в Иерусалим; он говорил о торжестве католицизма, когда папа будет царствовать над святыми местами и управлять миром, опираясь на «Казну Гроба Господня». Княгиня, с ее пламенной верой, была поражена только этим последним проектом, увенчанием здания, который своим химерическим величием разжигал пылкое воображение, заставлявшее ее бросать миллионы на дела милосердия, исполняемые с колоссальной и бесполезной роскошью. Как раз в это время католики во Франции были изумлены и раздражены договором императора с королем Италии, в силу которого первый обязывался вывести французские войска из Рима. Это значило отдать Рим в жертву Италии; предвидели уже момент, когда папа, изгнанный из Рима, должен будет жить милостыней, бродить с посохом из города в город; и вдруг такая изумительная развязка: папа первосвященник и король в Иерусалиме, поддерживаемый банком, акционерами которого с радостью сделаются католики всего мира. Княгиня называла этот план величайшей идеей нашего века, способной привести в восторг всякого благородного и религиозного человека. Она и без того уважала Гамлэна, теперь же это уважение удвоилось. Однако она начисто отказалась от участия в деле; она хотела остаться верной своей клятве раздать свои миллионы бедным, не нажив на них ни сантима. Пусть это богатство исчезнет, иссякнет в мире нищеты, как зараженный поток. Указание на то, что сами же бедные воспользуются спекуляцией, не трогало ее, напротив, раздражало. Нет, нет, пусть иссякнет проклятый источник: это ее миссия.

Саккар мог добиться от нее только одного разрешения, о котором тщетно хлопотал до сих пор. Он намеревался устроить банк в самом отеле, вернее сказать, Каролина внушила ему эту мысль, так как сам он по обыкновению заносился далеко, мечтал о дворце. Двор покроют стеклянной крышей; тут будет центральный зал; весь нижний этаж, сараи, конюшни превратят в конторы; во втором этаже, в гостиной, будет устроен зал совета, в столовой и остальных шести комнатах – опять-таки конторы; для себя Саккар оставлял только спальню и уборную, решив жить наверху, с Гамлэнами, там обедать и проводить вечера. Таким образом, банк будет устроен тесновато, правда, но солидно, и с небольшими издержками.

Сначала княгиня отказывала, чувствуя отвращение ко всякой торговле деньгами: никогда она не допустит такого безобразия под своей кровлей. Однако, на этот раз, затронутая в своем религиозном чувстве, взволнованная великой целью предприятия, она согласилась. Это была ее крайняя уступка; да и то она чувствовала легкую дрожь при мысли об этой адской машине – кредитном учреждении, гнезде биржевой игры и ажиотажа, которое заведется в доме, быть может, на гибель и разорение.

Наконец, неделю спустя после этой неудачной попытки дело, так долго тормозившееся, к великой радости Саккара, устроилось в несколько дней. Однажды утром Дегрэмон явился

с известием, что ему удалось, наконец, завязать все связи. Затем в последний раз обсудили статуты, редижировали акт общества. Гамлэнам это было тоже кстати; им приходилось очень туго. Он уже много лет только и мечтал сделаться инженером-советником большого кредитного учреждения: проводить воду к колесам, как он выражался. Мало-помалу горячка Саккара заразила и его: он тоже сторал от нетерпения и жажды деятельности. Напротив, Каролина, сначала так увлекшаяся мыслью о великих и полезных предприятиях, теперь как будто охладела, стала задумываться с тех пор, как дело пошло колесить по дебрям и трясинам финансовых операций, ее здравый смысл, ее прямодушная натура чуяли темные и грязные трущобы; она боялась за брата, которого оболгала, которого называла иногда, смеясь, «простофилей», несмотря на его ученость. Не то, чтобы она заподозрила искренность их общего друга; нет, она верила в его преданность делу; но чувствовала, что они вступают на зыбкую почву, грозящую провалом и гибелью при первом неосторожном шаге.

В это утро, после посещения Дегрэмона, Саккар с сияющим лицом поднялся наверх, в кабинет с планами.

– Наконец-то дело в шляпе! – воскликнул он.

Гамлэн взволнованный, со слезами на глазах, бросился жать ему руки, так что чуть не раздавил их. Но Каролина только обернулась на его восклицания, слегка побледнев.

– Что же, – воскликнул он, – только от вас и было?.. Вы уж не радуетесь нашему делу, а! Она ласково улыбнулась.

– Нет, я очень, очень рада, уверяю вас.

Потом, когда он сообщил Гамлэну подробности о синдикате, она вмешалась со своим спокойным видом:

– Значит, это дозволяется – соединяться и распределять между собою акции банка, прежде чем они выпущены?

Он отвечал с порывистым жестом.

– Да, конечно, дозволяется!.. Что мы за дураки, чтобы рисковать неудачей? Не говоря уже о том, что нам важно иметь за собой людей солидных, хозяев рынка, – на первых самых трудных шагах... Вот уже четыре пятых нашего выпуска в надежных руках. Теперь можно засвидетельствовать акт общества у нотариуса.

Она рискнула возразить.

– Я думала, что закон потребует полной подписки на капитал общества.

На этот раз он взглянул ей в лицо с изумлением.

– Так вы питаете кодекс!

Каролина слегка покраснела: в самом деле, вчера, уступая глухому беспокойству, беспричинному страху, терзавшему ее, она прочла законы об обществах. Сначала она хотела солгать. Потом призналась, смеясь:

– Ну, да, я читала кодекс вчера. Я хотела испытать добросовестность свою и других, и вынесла такое же впечатление, как из медицинской книги: прочтешь, и кажется, что в тебе гнездятся все болезни.

Но он рассердился: эта попытка показывала ему, что она не доверяет, и будет следить за ним подозрительными, зоркими глазами.

– Ах, – возразил он, отстраняя жестом бесплодные возражения, – неужели вы думали, что мы станем сообразоваться с китайскими церемониями кодекса? Да ведь это кандалы, мы будем спотыкаться на каждом шагу, а другие, наши соперники, живо обгонят нас!.. Нет, нет, уж, конечно, я не стану дожидаться подписки на весь капитал. Притом я предпочитаю сохранить за нами акции; найду надежного человека, открою ему кредит, а он ссудит нам свое имя.

– Это запрещено, – объявила она своим важным, спокойным голосом.

– Да запрещено; но все общества так делают.

– Напрасно они это делают.

Саккар подавил досаду и с улыбкой обратился к Гамлэну, который слушал молча, в замешательстве.

– Надеюсь, друг мой, что вы не сомневаетесь во мне... Я старый воробей; вы можете положиться на меня в отношении финансовой стороны дела. Давайте мне хорошие идеи, а я берусь выжать из них наибольшую пользу с наименьшим риском. От практического человека, мне кажется, только этого и требуется.

Инженер, по натуре слабый и боязливый, поспешил придать шуточный оборот разговору, чтобы уклониться от прямого ответа.

– О, вы найдете в Каролине настоящего цензора. Она родилась школьной учительницей.

– Я охотно поступлю в ее школу, – любезно заявил Саккар.

Каролина тоже засмеялась. Разговор продолжался в тоне дружеской фамильярности.

– Все это от того, что я люблю брата, да и вас самих гораздо больше, чем вы предполагаете. Мне было бы очень грустно, если б вы запутались в темные дела, которые всегда ведут к разорению и горю... Скажу вам откровенно, раз уж мы договорились до этого: я до смерти боюсь биржевой игры, спекуляций. Переписывая вам статут, я ужасно обрадовалась восьмой статье, в которой сказано, что общество строго обязуется воздержаться от всяких побочных операций. Ведь этим запрещается игра, не правда ли? А потом вы меня разочаровали, посмеявшись над моей наивностью, объявив, что эта статья простая формальность, которая встречается в уставах всех обществ и которой никто не придает значения... Знаете, чего бы мне хотелось? Чтобы на место этих акций, пятидесяти тысяч акций, которые вы намерены выпустить, вы выпустили бы только облигации. О, вы видите, я наострилась; с тех пор, как я читаю кодекс, я знаю, что с облигациями никто не играет, что владелец облигации просто кредитор, получающий столько-то процентов на внесенную им сумму, тогда как акционер – компаньон, участник всех барышей и потерь... Почему вы не выпустите облигации, тогда я буду совершенно спокойна и счастлива!

Она говорила притворно-умоляющим тоном, стараясь скрыть действительное беспокойство. Саккар отвечал в том же духе, с комическим пафосом.

– Облигации, облигации! Никогда!.. Куда я сунусь с облигациями? Это мертвая бумага... Поймите же, что спекуляция, игра – главное колесо, сердце великого предприятия, как наше, например. Да, она притягивает кровь, собирает ее отовсюду мелкими ручейками, рассыпает реками по всем направлениям, создает громадный круговорот денег, а это жизнь больших операций. Без нее просто невысказанно великое движение капиталов, и его результат – великие цивилизаторские труды... Все равно как анонимные общества: сколько кричали против них, сколько раз твердили, что это притоны, ловушки! А на самом-то деле, без них у нас не было бы ни железных дорог, ни других великих предприятий, обновивших мир; потому что ничьего состояния не хватило бы, чтоб довести их до конца; никакое частное лицо, ни даже группа частных лиц не решилась бы взять на себя сопряженный с ними риск. Все дело в риске, и в великой цели. Нужен обширный проект, действующий на воображение; надежда на огромные барыши, на счастливый билет в лотерее, которая разом удешевит состояние, если только не погубит его; тогда разгораются страсти, жизнь бьет ключом, всякий несет свои деньги, молено перевернуть землю. Что вы тут видите дурного? Это добровольный риск, разделенный на бесчисленное множество людей, сообразно богатству и смелости каждого. Теряют, но зато и выигрывают; рассчитывают на счастливый номер, но всякий должен быть готовым и к несчастному. Самая пламенная, самая упорная мечта человечества – счастливый случай; достигнуть всего, сделаться царями, сделаться богами, благодаря его капризу!

Мало-помалу Саккар перестал смеяться, выпрямился во весь свой маленький рост, его речь звучала пламенным лиризмом, он усиливал свои слова бурными жестами.

– Слушайте, разве мы с нашим Всемирным банком не открываем бесконечной перспективы широкого пути на древний Восток для заступа прогресса, для грез золотоискателей?

Конечно, никогда еще честолюбие не достигало таких колоссальных размеров и никогда, – я сознаюсь в этом, – условия успеха или неудачи не были так смутны. Но именно поэтому мы на верном пути к решению проблемы и, я уверен, привлечем громадную массу публики, как только о нас узнают... Наш Всемирный банк будет сначала обыкновенным, классическим домом: займется всевозможными банковскими операциями, кредитом, учетом, приемом вкладов на текущий счет, станем заключать контракты, договоры, делать займы. Но главное его назначение – послужить орудием, машиной, которая пустит в ход проекты вашего брата. Вот его истинная роль, источник постоянно возрастающей прибыли, могущества, потом господства. Он основан, в конце концов, для того, чтобы оказать содействие финансовым и промышленным обществам, которые мы устроим в чужих землях, которые будут обязаны нам своим существованием и обеспечат наше господство... И в виду этой ослепительной будущности вы спрашиваете меня, имеем ли мы право устроить синдикат и обеспечить премию его членам; вы беспокоитесь о неизбежных мелочных неправильностях, о неразобранных акциях, которые общество сохранит за собой под покровом подставного имени; наконец, вы объявляете поход против игры. Создатель... против игры, которая есть все – душа, очаг, огонь этой гигантской махинации!.. Знайте же, что все это безделка, ноль, что этот капитал в двадцать пять миллионов только первая вязанка хворосту, брошенная в очаг машины; что я намерен удвоить, учетверить, упятерить его по мере того, как наши операции будут расширяться, что нам нужен золотой дождь, пляска миллионов, если мы хотим исполнить наши великие предприятия!.. Ах, черт возьми! Конечно, я не ручаюсь за всех, когда поворачиваешь мир, можешь и отдавить ноги тому или другому.

Она смотрела на него, и увлеченная своей любовью к жизни, ко всему сильному и деятельному, находила его прекрасным, увлекательным, полным огня и веры. И не сдаваясь на его теории, возмущавшие ее простой и ясный ум, она сделала вид, что согласна.

– Хорошо, допустим, что я только женщина, которую пугают битвы за существование... Только, пожалуйста, старайтесь раздавить как можно меньше людей, а главное не давите тех, кого я люблю.

Саккар, опьяненный собственным красноречием, торжествуя над своим обширным планом, как будто он был уже исполнен, оказался очень покладистым.

– Не бойтесь! Я корчу из себя людоеда только для смеха... Все будут богаты.

Затем они стали спокойно беседовать о делах; было решено, что Гамлэн на другой же день после окончательного устройства общества отправится в Марсель, а от туда на Восток, чтобы ускорить начало великих предприятий.

На парижском рынке уже ходили слухи; имя Самара вынырнуло из пропасти, в которую было погрузилось; сначала шептались, потом начали говорить громко, пророчили несомненный успех, так что в его передней по-прежнему, как в парке Монсо, стали толпиться просители. Мазо заглянул между делом, проведать и потолковать о новостях дня; появились и другие маклеры: еврей Якоби с громовым голосом, и его beau-frere Деларок, рыжий толстяк. Кулиса явилась в лице Натансона, маленького живого блондина, которому везло счастье. Что касается Массиаса, примирившегося с тяжелым ремеслом неудачника-агента, то он давно уже являлся каждое утро, хотя еще ни разу не получил поручения. Словом, стекалась целая толпа.

Однажды утром, в девять часов, Саккар, заглянув в приемную, убедился, что она полна народа. Так как он еще не организовал служебного персонала, а камердинер помогал ему очень неумело, то он впускал посетителей сам. На этот раз, когда он отворил дверь кабинета, перед ней очутился Жантру, но Саккар заметил в приемной Сабатани, которого искал уже два дня.

– Виноват, друг мой! – сказал он, удерживая бывшего профессора, чтобы принять восточного человека.

Сабатани со своей беспокойной льстивой улыбкой, с своей змеиной гибкостью, слушал Саккара, который прямо приступил к делу.

– Дорогой мой, вас-то мне и нужно... Нам требуется подставное имя. Я открою для вас счет, вы получите известное количество наших акций, заплатив только подписями... Как видите, я иду прямо к цели и отношусь к вам, как к другу.

Молодой человек посмотрел на него своим бархатным взглядом.

– Закон положительно требует денежного взноса... Впрочем, я говорю это не ради себя. Я горжусь вашей дружбой... Все, что вам угодно.

Тогда Саккар, желая сделать ему удовольствие, начал рассказывать, с каким уважением относится к нему Мазо.

– Кстати, – прибавил он, – нам потребуется подпись, что бы оформить некоторые операции, трансферты например... Могу я посылать вам бумаги для подписи?

– Разумеется, *cher maitre*. Все, что вам угодно!

Он даже не возбуждал вопроса о плате, зная, что это делается даром, и когда Саккар прибавил, что ему будут платить франк за каждую подпись, чтобы вознаградить его за потерю времени, он только кивнул головой. Потом прибавил с своей сладкой улыбкой:

– Надеюсь, *cher maitre*, что вы не откажете мне в ваших советах? Вы начинаете такое выгодное дело, я буду заходить за справками.

– Хорошо, – сказал Саккар, понявший, в чем дело. Он выпустил его через заднюю дверь, благодаря которой его посетителям не нужно было возвращаться через приемную.

Потом Саккар позвал Жантру. С первого взгляда он убедился, что тот был в отчаянном положении, без всяких средств к существованию, в старом сюртуке, с обдерганными рукавами, истрепавшимися о столики кофейных.

Биржа по-прежнему была для него мачехой; однако, он еще был хоть куда, с бородой веером, циничный, образованный, время от времени отпускавший цветистые фразы из запаса старой учености.

– Я собирался писать вам, – сказал Саккар. – Мы набираем служебный персонал, и я поместил ваше имя в списке: я думаю дать вам место в конторе выпусков...

Жантру остановил его жестом.

– Вы очень любезны, благодарю вас... Но я хотел вам предложить одно дельце.

Он не сразу объяснил, в чем дело, начав с общих фраз, спрашивая, какое участие примут газеты в устройстве Всемирного банка. Саккар тотчас подхватил его слова, объяснив, что он стоит за самую широкую огласку, употребить на нее все свободные средства. Не нужно пренебрегать самой грошовой рекламой; по мнению Саккара, всякий шум хорош уже потому, что это шум. Желательно бы было иметь на своей стороне все газеты, только это будет стоить слишком дорого.

– Да, не хотите ли вы взяться за это дело?.. Не дурно бы было. Мы потолкуем об этом.

– Да, только позвольте сначала мой план... Что вы скажете о газете, которая будет издаваться для вас, специально для вас, под моей редакцией. Каждый день вам посвящается страница: хвалебные статьи о вашем банке, простые заметки, чтобы привлечь к вам внимание публики, намеки на вас в статьях, совершенно чуждых финансам, наконец, целый поход, возвеличивание вашего дела всегда, по всякому поводу, насчет ваших соперников... Не соблазняет вас это?

– Черт возьми, если за это вы не сдерете с нас шкуры...

– Нет, за умеренную цену.

Он назвал, наконец, газету: «Надежда», листок, основанный два года тому назад небольшой группой католиков, ярых партизанов клерикализма, объявивших жестовую войну империи. Впрочем, газета не имела никакого успеха, и каждую неделю ходили слухи о ее превращении.

Саккар протестовал.

– Да у нее не наберется и двух тысяч подписчиков!

– Это уж наше дело: мы добьемся успеха!

– И потом немислимо: она забрасывает грязью моего брата, а я не могу с ним ссориться на первых же шагах.

Жантру слегка пожал плечами.

– Не следует ни с кем ссориться... Вы знаете не хуже меня, что если кредитное учреждение имеет свою газету, то решительно все равно, нападает она на правительство или защищает его: если она официозна, дом может рассчитывать на участие во всех синдикатах, которые устроит министр финансов, чтобы обеспечить успех государственных или общинных займов; если же она в оппозиции, тот же министр будет всячески ухаживать за банком, чтобы обезоружить его и привлечь на свою сторону; часто это является источником неожиданных милостей. И так, не беспокойтесь о направлении «Надежды». Приобретите орган – это сила.

Подумав с минуту, Саккар развил целый план с той удивительной быстротой соображения, благодаря которой сразу осваивался с чужой идеей, исследовал ее, приспособлял к своим нуждам, так что она становилась как бы его собственной: он купит «Надежду», устранив грубую полемику, повергнет газету к стопам своего брата, так что тот поневоле будет ему благодарен, но сохранит ее католический оттенок, как, вечную угрозу, как машину, которая всегда готова начать свою страшную войну во имя интересов религии. И если брат не будет с ним хорош, он пригрозит Римом, пустит в ход свой великий план насчет Иерусалима. Это будет славный финал.

– Вполне ли мы будем свободны?

– Вполне. Им уже надоела возня, газета пала, теперь она в руках одного молодца, который уступит ее нам тысяч за двенадцать франков. Мы можем делать из нее все, что нам вздумается.

Саккар подумал еще немного.

– Ну, ладно, по рукам. Приведите ко мне этого господина... Вы будете редактором, и я намерен сосредоточить в ваших руках все дело рекламы. Я хочу, чтобы она была исключительной, колоссальной... о, впоследствии, когда мы пустим в ход нашу машину!

Он встал, Жантру тоже встал, радуясь, что нашел, наконец, кусок хлеба и, скрывая свою радость под напускным смехом праздничношатающегося, которому надоела парижская грязь.

– Наконец-то я вернусь к своему призванию, к литературе.

– Пока никого не приглашайте, – заметил Саккар, провожая его. – А пока я обдумываю наше дело, обратите внимание на моего протеже, Поля Жордана; по моему мнению, это замечательно талантливый молодой человек, вы найдете в нем превосходного сотрудника для беллетристического отдела. Я напишу ему, чтобы он побывал у вас.

Жантру хотел уйти через заднюю дверь, но приостановился, пораженный удобством этого расположения дверей.

– Ба, это удобно, – сказал он фамильярно. – Молено морочить публику... Когда являются хорошенькие дамы, вроде баронессы Сандорф, которую я сейчас видел в приемной...

Саккар не знал, что она была там, и пожал плечами с равнодушным видом, но тот не верил и лукаво подсмеивался. Они пожали друг другу руки.

Оставшись один, Саккар инстинктивно подошел к зеркалу, поправил волосы. Тем не менее, он вовсе не притворялся: женщины не занимали его с тех пор, как он погрузился в дела; он поддавался только инстинктивной любезности, в силу которой всякий француз, оставшись наедине с женщиной, боится прослыть за дурака, если не покорит ее. Когда вошла баронесса, он засуетился.

– Не угодно ли вам присесть, сударыня? – Никогда она не казалась ему такой соблазнительной со своими пунцовыми губками, огненными глазами, бледными веками под густыми бровями. Что ей нужно от него? Он был удивлен, почти разочарован, когда она объяснила причину своего визита.

– Боже мой, прошу извинить, если я беспокою вас без всякой пользы для вас самих, но между людьми одного круга подобные маленькие услуги не считаются... У вас был повар, которого хочет нанять мой муж. Я пришла просто за справками.

Он любезно отвечал на все ее вопросы, не спуская с нее глаз; ему казалось, что это только предлог: станет она приходить ради повара; наверно, тут кроется другая цель. И в самом деле, после разных экивоков она упомянула об одном из своих друзей, маркизе Богэн, который говорил ей о Всемирном банке. Теперь так трудно поместить деньги, найти надежные бумаги. Наконец он понял, что она охотно возьмет акции с премией в десять франков, назначенных для членов синдиката, понял даже более, что она не станет платить, если он откроет ей кредит.

– У меня собственное состояние, муж никогда не вмешивается в мои дела. Оно доставляет мне много хлопот, отчасти, признаюсь, и развлекает меня... Не правда ли, женщина, особенно молодая, занимающаяся денежными делами, всегда кажется странной, вызывает порицание?.. Иногда я крайне затрудняюсь: не с кем посоветоваться. Однажды, не имея надлежащих сведений, я потерпела большие убытки... Ах, теперь вы в таком благоприятном положении, знаете все, что делается в финансовом мире, если б вы были любезны, если б вы захотели...

В этой светской женщине, дочери Ладрикуров, предки которой когда-то брали Антиохию, жене дипломата, перед которой склонялась вся иностранная колония Парижа, чуялась страсть к игре, бешеная, упорная страсть, побуждавшая ее обивать пороги у всех воротил финансового мира, ее губы зарумянились, глаза заблестели еще сильнее; жадность принимала форму женской страстности. А он имел наивность думать, что она явилась с целью предложить свою любовь за участие в его банке и полезные справки о биржевых делах.

– Но, – воскликнул он, – я буду очень рад повергнуть мою опытность к вашим ногам, сударыня!

Он подвинулся к ней, взял ее руку. Она сразу опомнилась. Нет, это слишком: она еще не дошла до того, чтобы платить своими ночами за полезные справки. Для нее была достаточным бременем связь с Делькамбром, желтым и сухим господином, к которой побудила ее скардность мужа, ее равнодушие, тайное презрение к мужчинам, выражалось в усталой бледности лица, оживлявшегося только страстью к наживе. Она встала; в ней проснулись гордость расы и правила воспитания, до сих пор нередко заставлявшие ее упускать выгодные дела.

– И так, вы были довольны вашим поваром?

Саккар, удивленный этим вопросом, в свою очередь встал. На что же она рассчитывала? Что он впишет ее в число членов и будет давать ей советы даром? Решительно нельзя полагаться на женщин – никакой честности в коммерческих делах! Однако, хотя она очень нравилась ему, он не настаивал, и поклонился с улыбкой, говорившей: «Ваше дело, сударыня, как вам угодно», тогда как громко произнес:

– Очень доволен, как я уже говорил вам. Я отказал ему только вследствие преобразований в хозяйстве.

Баронесса Сандорф медлила несколько мгновений, не потому, что жалела о своем порыве, но, без сомнения, чувствуя, как наивно было с ее стороны ожидать чего-нибудь от такого господина, как Саккар, даром. Это раздражало ее против самой себя, так как она имела претензию быть серьезной женщиной. Она кончила тем, что слегка кивнула головой в ответ на его почтительный поклон: он проводил ее до двери, которая внезапно отворилась. Это был Максим, который сегодня утром должен был завтракать у отца и явился запросто, без доклада. Он посторонился, чтобы пропустить баронессу, и тоже раскланялся. Потом, когда она удалилась, заметил с легкой усмешкой.

– Твое дело пошло в ход, получаешь премии?

Несмотря на свою юность, он имел вид опытного человека, который не станет входить в бесполезные расходы ради случайного удовольствия. Отец понял эту манеру иронического превосходства..

– Нет, ничего еще не получил, только не из благоразумия; признаюсь, милый мой, я также горжусь своей вечной молодостью, как ты своей ранней старостью.

Максим засмеялся еще сильнее своим прежним смехом, жемчужным смехом девушки, до сих пор звучавшим двусмысленно, хотя вообще он имел вид благоразумного молодого человека, не желающего больше портить свою жизнь. Он относился к чужим порокам крайне снисходительно, лишь бы не трогали его самого.

– Что ж, ты прав, раз это тебе не вредит... А я, сам знаешь, уже страдаю от ревматизмов. С этими словами он уселся в кресле и взял газету.

– Не заботься обо мне, принимай своих посетителей, если только я тебя не стесняю... Я пришел слишком рано, потому что думал побывать у доктора, да не застал его дома.

В эту минуту вошел камердинер и объявил, что графиня Бовилье желает видеть Саккара. Последний, немного изумленный, хотя и встречал свою знатную соседку, как он выражался, – в Доме трудолюбия, – приказал принять ее немедленно; потом, кликнув камердинера, велел отпустить всех остальных посетителей, так как чувствовал себя усталым и голодным.

Графиня даже не заметила Максима, спрятанного за спинкой кресла. Саккар еще сильнее удивился, увидев, что она привела с собой дочь, Алису. Это придавало еще более торжественный характер появлению двух дам: мать, бледная, худая, седая, и дочь, состарившаяся раньше времени, с длинной шеей, безобразившей ее. Он засуетился, пододвигал кресла, стараясь выразить свое почтение.

– Я крайне польщен, сударыня... Чем могу служить?

Графиня очень застенчивая, несмотря на высокомерный вид, объяснила причину своего посещения.

– Я решила посетить вас вследствие разговора с моей подругой, княгиней Орвиедо... Признаюсь, сначала я не решалась: в моем возрасте нелегко изменять убеждения, и притом я всегда боялась современных дел, которых совсем не понимаю... Но, поговорив с дочерью, я подумала, что мне следует отказаться от моих предрассудков ради блага моих близких.

Она продолжала: графиня сообщила ей, что Всемирный банк, обыкновенное кредитное учреждение в глазах профанов, поставил своей задачей такую высокую цель, что самая боязливая совесть должна успокоиться. Она не произнесла имени папы, или Иерусалима: этого не говорили, об этом только шептались, как о тайне, которая тем более возбуждала страсти; но в каждом из ее слов, намеков, недомолвок, чувствовалась пламенная вера в дело нового банка.

Саккар сам был поражен ее сдержанным волнением, дрожью ее голоса. До сих пор, если он и говорил об Иерусалиме, то только в порыве лирического экстаза; в глубине души он сам не доверял этому безумному проекту, чувствуя его смешную сторону, всегда готовый бросить его и посмеяться над ним, если он будет встречен насмешками. Но поступок этой безгрешной женщины, приведшей свою дочь, ее глубокое убеждение, что вся французская знать поверит и схватится за это дело, произвели на него сильнейшее впечатление, давая осязательную форму чистой мечте. Стало быть, в самом деле, это рычаг, посредством которого можно повернуть мир! С обычной быстротой соображения он тотчас освоился с положением начал говорить таинственным тоном об окончательном триумфе, к которому стремился в тиши; и в словах его звучала горячая вера, вера в значение средства, доставленного ему кризисом папства. Он обладал счастливой способностью верить, раз этого требовали его планы.

– Наконец, милостивый государь, – продолжала графиня, – я решила на то, что до сих пор внушало мне отвращение... Да, мне никогда не приходила в голову мысль пустить в оборот деньги, наживать на них проценты – прежние взгляды на жизнь, совесть, может быть, глупая, но что вы хотите? Не так-то легко отказаться от понятий, всосанных с молоком; я всегда думала, что только земля, большие имения должны кормить таких людей, как мы... К несчастью, имения...

Она слегка покраснела, так как приходилось сознаваться в разорении, которое она так тщательно скрывала.

– Больших имений теперь не существует... И мы толщ много потеряли... У нас остается только одна ферма.

Саккар, видя ее смущение, рассыпался в уверениях.

– Но, сударыня, теперь никто не живет землями... Это устаревшая форма богатства. Она связана с денежным застоєм, тогда как мы удесятерили силу денег посредством кредитных знаков и бумаг всякого рода, коммерческих и финансовых. Только таким путем можно обновить мир, потому что без денег подвижных, всюду проникающих денег, ничто недостижимо, ни приложения науки, ни общий окончательный мир... О, земельная собственность сдана в архив! Миллион в виде земель дает гроши, четвертая часть той же суммы, помещенная в надежные предприятия; приносит пятнадцать, двадцать, тридцать процентов...

Графиня слегка покачала головой.

– Я не понимаю того, что вы говорите, и, как я уже сказала, принадлежу к эпохе, когда эти вещи считались дурными и недозволенными... Но я не одна, я должна подумать о дочери. Мне удалось отложить – о, самую ничтожную сумму...

Она снова покраснела.

– Двадцать тысяч франков, которые лежат у меня в столе без всякой пользы. Может быть, впоследствии я пожалею об этом, и так моя подруга сказала мне, что ваше дело хорошо, что вы добиваетесь того, к чему и мы все стремимся, то я решилась... Словом, я вам буду очень благодарна, если вы сохраните для меня несколько акций вашего банка, на сумму от десяти до двенадцати тысяч франков. Я пришла вместе с дочерью, так как не скрою от вас – это ее деньги.

До сих пор Алиса не открывала рта, хотя в глазах ее светилось живое участие к делу. Теперь она обратилась к матери тоном нежного упрека: – О, мои! Разве у меня есть что-нибудь, что не было бы и вашим!

– А твой брак, дитя мое?

– Вы знаете, что я не хочу выходить замуж.

Она сказала это скороговоркой; тоска одиночества звучала в ее слабом голосе. Мать остановила ее печальным взглядом; с минуту они глядели друг на друга; прожив столько времени с глазу на глаз, разделяя и скрывая одни и те же печали, они уже не могли обмануть друг друга.

Саккар был глубоко взволнован.

– Сударыня, – сказал он, – если бы даже все акции были разобраны, я нашел бы для вас... взял бы из своих... Ваш поступок меня очень трогает, я крайне польщен вашим доверием...

В эту минуту он искренно верил, что обогатит этих несчастных, даст им долю в золотом дожде, который польется на него и окружающих.

Дамы встали и удалились. Только у дверей графиня позволила себе прямой намек на великое предприятие, о котором не говорили вслух.

– Я получила письмо от моего сына Фердинанда из Рима; он говорит, что известие о вызове наших войск возбудило большую печаль.

– Терпение! – воскликнул Саккар. – Мы все уладим.

Он низко поклонился и проводил их до лестницы, на этот раз через приемную, так как думал, что все уже разошлись. Но, возвращаясь, он увидел человека лет пятидесяти, высокого и тощего, похожего с виду на работника, принарядившегося для праздника; с ним была хорошенькая девушка лет восемнадцати, худенькая и бледная.

– Что вам угодно?

Девушка поднялась первая, а посетитель, смущенный этим грубым приемом, довольно бестолково принялся объяснять причину своего визита.

– Я приказал отпустить всех! Зачем вы остались?.. Как вас зовут, по крайней мере?..

– Дежуа, сударь, а это моя дочь, Натали...

Он снова запутался, и Саккар хотел уже выпроводить его, когда тот упомянул о Каролине, которая знала его и велела дожидаться...

– Ах, так вы от г-жи Каролины! Так бы и сказали с самого начала... Войдите; только говорите покороче; я очень голоден.

Войдя в кабинет, он даже не предложил им сесть и объяснялся стоя, чтобы отделаться от них поскорее. Максим, который после ухода графини встал с кресла, не считал нужным прятаться и с любопытством смотрел на посетителей. Дежуа объяснил свое дело.

– Видите ли, сударь... Оставив военную службу, я служил в конторе у г-на Дюрье, мужа г-жи Каролины, когда он еще был жив. Потом я поступил к г-ну Ламбертье, фактору на рынке. Потом к г-ну Блэзо, банкиру, которого вы знаете; он застрелился два месяца тому назад, и с тех пор я без места... Надо сказать, что я женился; да, женился на моей жене Жозефине, еще когда служил у г-на Дюрье; она служила в кухарках у его свояченицы, г-жи Левен, которую г-жа Каролина хорошо знает. Потом, когда я поступил к г-ну Ламбертье, ей не нашлось там места и пришлось поступить к доктору Ренодэн, на улице Гренелл. Потом она служила в магазине трех братьев, на улице Рамбюто, а для меня, как назло, там не оказалось места...

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.